

УДК 13  
ББК 87  
К 19

**Канетти Э., Московичи С.**

**К 19** Монстр власти. – М.: Алгоритм, 2009. – 240 с.

**ISBN 978-5-9265-0608-9**

Как считали выдающиеся исследователи массовой психологии Э. Канетти и С. Московичи, определенные представления о человеческой природе скрыты, пока мы в одиночестве, но заявляют о себе, когда мы собираемся вместе. Толпа, «масса», понимается Канетти и Московичи как социальное животное, сорвавшееся с цепи, как неукротимая и слепая сила. Но именно поэтому она нуждается в вожде, который используя иррациональную сущность масс, пленяет их своим гипнотизирующим авторитетом. Культ личности, хотя его так и не называют, из исключения становится правилом, а ослабление партий почти повсюду только укрепляет могущество лидеров.

Политика в эпоху глобализации еще больше, чем в прошлом становится массовой политикой и сама приобретает иррациональные черты. Этот монстр власти, подобно Левифиану, имеет множество голов...

УДК 13  
ББК 87

© Каралашвили Р., перевод с нем.,  
Емельянова Т., Дилигенский Г.,  
перевод с фр., 2009

© ООО «Алгоритм-Книга», 2009

**ISBN 978-5-9265-0608-9**

## ПРЕДИСЛОВИЕ<sup>1</sup>

Побеждают революции, один за другим возникают новые режимы, устои прошлого рассыпаются в прах, остается неизменным лишь стремительное возвышение вождей. Они, разумеется, всегда играли какую-то роль в истории, но никогда ранее она не была столь решающей, никогда потребность в вождях не была такой острой.

Сразу возникает вопрос: совместимо ли такое стремительное восхождение с принципом равенства (основой всякого правления в цивилизованных странах), со всеобщим прогрессом военных сил и культуры, с распространением научных знаний? Неужели оно является неизбежным следствием всех тех особенностей современного общества, с которыми оно, казалось бы, несовместимо? Ведь поначалу, когда большинство захватывает власть, она временно переходит в руки меньшинства, но только до того момента, пока один человек не отнимет ее у всех остальных. Этот исключительный человек теперь во-

---

<sup>1</sup> Из книги С. Московичи «Век толп». Перевод с французского Т. Емельяновой.

площает собой закон. По приказу вождя толпа его приверженцев беспрекословно идет на преступления, потрясающие воображение, совершает бесчисленные разрушения.

Такая власть не может осуществиться, не лишив людей ответственности и свободы. Более того, она требует их искренней вовлеченности. Хотя нам не привыкать к таким парадоксальным эффектам и их накопление даже притупляет нашу впечатлительность, тем не менее они продолжают нас удивлять, а порой шокировать, заставляя думать, что мы сами становимся их причиной.

Мы полагали, даже считали аксиомой, что единоличное господство, наконец, изживет себя и о нем будут знать только понаслышке. Оно должно было бы стать какой-то диковиной, как культ героев или охота на ведьм, о которых пишут в старинных книгах. Кажется, трудно сказать что-то новое на эту старую тему. Но, не внося никаких новаций, мы довели до предела совершенства то, что в иные времена с их тиранами и Цезарями начиналось в зародыше. Мы создали модель и превратили опытный образец в систему. Давайте признаем, что, пронизывая многообразие культур, обществ и групп, поддерживаемая ими, установилась однотипная система власти, в которой утверждает себя личность — власть вождей.

Экономические или технические факторы, несомненно, содействуют обретению вождями их могущества. Но есть одно магическое слово, обозначающее ту самую единственную действительную причину: это слово «толпа», или еще лучше «масса». Его часто упоминают в разговорах еще со времен Французской революции. Однако нужно было дождаться

двадцатого века, чтобы уяснить его смысл и придать ему научное значение. Ведь масса — это временная совокупность равных, анонимных и схожих между собой людей, в недрах которой идеи и эмоции каждого имеют тенденцию выражаться спонтанно.

Толпа, масса — это социальное животное, сорвавшееся с цепи. Моральные запреты сметаются вместе с подчинением рассудку. Социальная иерархия ослабляет свое влияние. Стираются различия между людьми, и люди выплескивают, зачастую в жестоких действиях, свои страсти и грезы: от низменных до героических, от иступленного восторга до мученичества. Беспреданно кишащая людская масса в состоянии бурления — вот что такое толпа. Это неукротимая и слепая сила, которая в состоянии преодолеть любые препятствия, сдвинуть горы или уничтожить творения столетий.

Разрыв социальных связей, быстрота передачи информации, непрерывная миграция населения, ускоренный и раздражающий ритм городской жизни создают и разрушают человеческие сообщества. Будучи разрозненными, они воссоздаются в форме непостоянных и разрастающихся толп. Это явление приобретает невиданный прежде размах, из чего следует его принципиальная историческая новизна. Именно поэтому в цивилизациях, где толпы играют ведущую роль, человек утрачивает смысл существования так же, как и чувство «Я». Он ощущает себя чуждым в скоплении других людей, с которыми он вступает лишь в механические и безличные отношения. Отсюда и неуверенность, и тревога у каждого человека, чувствующего себя игрушкой враждебных и неведомых сил. Отсюда же его поиск идеала

или веры, его потребность в каком-то образце, который бы ему позволил восстановить ту целостность, которой он жаждет.

\* \* \*

Массы можно было бы сравнить с шаткой грудой кирпича, сложенной без специальной кладки и раствора, которая, будучи лишенной цементирующего вещества, может рухнуть от порыва ветра. Давая каждому человеку ощущение личной связи, вынуждая его разделять общую идею, одно и то же мировоззрение, лидер предлагает ему своего рода эрзац общности, видимость непосредственной связи человека с человеком.

Достаточно нескольких броских образов, одной или двух формул, ласкающих слух и доходящих до сердца, или напоминания о великой коллективной вере и есть цемент, связывающий людей и поддерживающий целостность массового сооружения. Грандиозные церемонии, беспрестанные собрания, демонстрации силы или веры, проекты будущего, одобряемые всеми, и т.д. — всякое торжественное выражение объединения сил и подчинения коллективной воле творит драматическую атмосферу экзальтации.

Выделяясь на фоне людской массы, которая расстачает ему всяческие хвалы и курит фимиам, вождь зачаровывает ее своим образом, обольщает словом, подавляет, опутывая страхом. В глазах такого раздробленного людского множества индивидов он является массой, ставшей человеком. Он дает ей свое имя, свое лицо и свою активную волю.

Это позволяет ему требовать необходимых жертв. Первая жертва состоит в отказе массы от контроля за властью и того удовлетворения, которое дает свобода, для того, чтобы сторонники и соратники вождя могли бы лучше управлять и были более управляемыми благодаря максимально сокращенным и ускоренным управленческим ходам. Любые выборы, любые повседневные дела, работа, любовь, поиск истины, чтение газеты и т.д. становятся плебисцитом по его имени. Ведь его влияние, было ли оно получено с согласия масс или вырвано в результате переворота, основывается на всеобщем одобрении, то есть принимает вид демократии...

Существует какая-то мистерия масс. Правда, наша любознательность охлаждается скромными достижениями современной общественной мысли. Но зато чтение произведений классиков ее пробуждает. Сколько бы ни умалчивали ее, сколько бы ее ни искажали, или даже забывали о ней, невозможно ее совершенно проигнорировать, тем более уничтожить. Русский философ Зиновьев писал в своем труде «Без иллюзий»: «В целом эти феномены психологии масс ускользают от историков, которые принимают их за вторичные элементы, не оставляющие никакого видимого следа. А на самом деле их роль огромна». Лучше и лаконичнее не скажешь.

Психология толпы родилась, когда ее пионеры задались вопросами, которые в общем-то у всех на устах: каким образом вожди оказывают такое влияние на массы? Неужели человек-масса вылеплен из другого теста, чем человек-индивидуум? Есть ли у индивидуума потребность в вожде? Почему, наконец, именно наш век — это век толп? Успех ответов на эти вопросы был ошеломляющим настолько, что сегодня даже трудно себе представить.

\* \* \*

Воссоздание системы психологии масс, несмотря на богатство материала, не представляется мне легкой задачей. На каждом шагу открывается, мягко говоря, не слишком лестная картина общественной жизни с ее лидерами и массами. Здесь неизбежно обнаруживаются все те черты, которые делают власть невыносимой; в не меньшей степени приводит в уныние облик толп, жаждущих повиновения, становящихся жертвой собственных импульсивных действий и по природе своей лишенных сознания...

Надо полагать, для того чтобы избежать ловушек слишком сильных оценок и показаться здравым, наилучшее средство — последовать максиме философа Брэдли: «Когда что-то плохо, то надо хорошо представлять себе худшее». И, во всяком случае, не строить никаких иллюзий...

## Часть 1

### ПОРОЖДАЮЩИЕ ЧУДОВИЩ...

МАССА — ВМЕСТО НАРОДА.  
УЖАСЫ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ<sup>1</sup>

#### **Боязнь прикосновения и ее метаморфозы**

Ничего так не боится человек, как непонятного прикосновения. Когда случайно дотрагиваешься до чего-то, хочется увидеть, хочется узнать или, по крайней мере, догадаться, что это. Человек всегда старается избегать чужеродного прикосновения. Внезапное касание ночью или вообще в темноте может сделать этот страх паническим. Даже одежда не обеспечивает достаточной безопасности: ее так легко разорвать, так легко добраться до твоей голой, гладкой, незащитной плоти.

Эта боязнь прикосновения побуждает людей всячески отгораживаться от окружающих. Они запираются в домах, куда никто не имеет нрава ступить, и лишь IBM чувствуют себя в относительной безопасности. Взломщика боятся не только потому, что он может ограбить, страшно, что кто-то внезапно,

---

<sup>1</sup> Из книги Э. Канетти «Масса и власть». Перевод с немецкого Р. Каралашвили.



неожиданно схватит тебя из темноты. Рука с огромными когтями обычный символ этого страха. Отсюда во многом двойственный смысл немецкого слова *angreifen*. Оно может означать и безобидное прикосновение, и опасное нападение, причем в первом значении всегда присутствует оттенок второго. Основное же значение существительного *Angriff* уже исключительно отрицательное: нападение, атака.

Нежелание с кем-либо соприкоснуться сказывается и на нашем поведении среди других. Характер наших движений на улице, в толпе, в ресторанах, в поездах и автобусах во многом определяется этим страхом. Даже когда мы оказываемся совсем рядом с другими людьми, ясно их видим и прекрасно знаем, кто это, мы по возможности избегаем соприкосновений. Коли же, напротив, мы рады коснуться кого-то, значит, этот человек оказался нам просто приятен, и сближение происходит по нашей инициативе.

Быстрота, с какой мы извиняемся, нечаянно кого-то задев, напряженность, с какой обычно ждешь извинения, резкая и подчас не только словесная реакция, если его не последует, неприязнь и враждебность, которую испытываешь к «злоумышленнику», даже когда не думаешь, что у него и впрямь были дурные намерения, весь этот сложный клубок чувств вокруг чужеродного прикосновения, вся эта крайняя раздражительность, возбудимость свидетельствуют о том, что здесь оказывается задето что-то затаенное в самой глубине души, что-то вечно недремлющее и коварное, что-то никогда не покидающее человека, однажды установившего границы своей личности. Такого рода страх может лишить и сна, во время которого ты еще беззащитней.

\* \* \*

Освободить человека от этого страха перед прикосновением способна лишь масса. Только в ней страх переходит в свою противоположность. Для этого нужна плотная масса, когда тела прижаты друг к другу, плотная и по своему внутреннему состоянию, то есть когда даже не обращаешь внимания, что тебя кто-то «теснит». Стоит однажды ощутить себя частицей массы, как перестаешь бояться ее прикосновения. Здесь в идеальном случае все равны. Теряют значение все различия, в том числе и различие пола. Здесь, сдавливая другого, сдавливаешь сам себя, чувствуя его, чувствуешь себя самого. Все вдруг начинает происходить как бы внутри одного тела. Видимо, это одна из причин, почему массе присуще стремление спланиваться тесней: в основе его желание как можно в большей степени освободить каждого в отдельности от страха прикосновения. Чем плотней люди прижаты друг к другу, тем сильнее в них чувство, что они не боятся друг друга. Это свойство массы. Облегчение, которое в ней начинаешь испытывать и о котором еще пойдет речь в другой связи, становится наиболее ощутимо при самой большой ее плотности.

### **Открытая и закрытая масса**

Масса, вдруг возникающая там, где только что ничего не было, явление столь же загадочное, сколь и универсальное. Стояли, допустим, вместе несколько человек, пять, десять, от силы двенадцать, не

больше. Не было никаких объявлений, никто ничего не ждал. И вдруг все уже черно от людей. Они стекаются сюда отовсюду, как будто движение по улицам стало односторонним. Многие понятия не имеют, что случилось, спроси их об этом, они не смогут ответить; и все-таки они спешат присоединиться к толпе. Их движению присуща решительность, свидетельствующая отнюдь не о простом любопытстве. Можно сказать, что движение одного оказывается заразительным для другого, но дело не только в этом: у них есть цель. Она появилась прежде, чем они это осознали; цель — самое черное место, место, где собралось больше всего людей.

Об этой ярко выраженной форме спонтанной массы следует кое-что сказать. В месте своего возникновения, то есть собственно в своем ядре, она не так уж спонтанна, как кажется. Но в остальном, если не считать пяти, десяти или двенадцати человек, с которых она началась, масса действительно характеризуется этим свойством. Возникнув однажды, она стремится возрасти. Стремление к росту первое и главнейшее свойство массы. Она готова захватить каждого, кого только можно. Всякий, имеющий облик человеческого существа, может к ней примкнуть. Естественная масса есть открытая масса: для ее роста вообще не существует никаких границ. Она не признает домов, дверей и замков; ей подозрительны те, кто от нее запирается. Слово «открытая» здесь следует понимать во всех смыслах, она такова всюду и во всех направлениях. Открытая масса существует, покуда она растет. Как только рост прекращается, начинается ее распад.

Ибо распадается масса так же внезапно, как возникает. В этой своей спонтанной форме она образование чувствительное. Открытость, позволяющая

ей расти, одновременно опасна для нее. Предчувствие грозящего распада всегда присутствует в ней. Она пытается избежать его, стараясь быстрее расти. Она вбирает в себя всех, кого только можно, но, когда никого больше не остается, распад становится неизбежным.

\* \* \*

Противоположностью открытой массе, которая может расти до бесконечности, которая есть повсюду и именно потому претендует на универсальность, является закрытая масса.

Эта отказывается от роста, для нее самое главное — устойчивость. Ее примечательная черта — наличие границы. Закрытая масса держится стойко. Она создает для себя место, где обособляется; есть как бы предназначенное ей пространство, которое она должна заполнить! Ее можно сравнить с сосудом, куда наливается жидкость: известно, сколько жидкости войдет в этот сосуд. Доступ на ее территорию ограничен, туда не попадешь так просто. Границы уважаются. Эти границы могут быть каменными, в виде крепких стен. Может быть установлен особый акт приема, может существовать определенный взнос для входа. Когда пространство оказывается заполнено достаточно плотно, туда никто больше не допускается. Если какая-то часть желающих осталась за его пределами, в расчет всегда берется лишь плотная масса внутри закрытого пространства, остальные не считаются принадлежащими к ней всерьез.

Граница препятствует нерегулируемому приросту, но она затрудняет и замедляет также возможность распада. Теряя в росте, масса соответственно приобретает в устойчивости. Она защищена от внеш-

них воздействий, которые могут быть для нее враждебны и опасны. Но особенно много значит для нее возможность повторения. Перспектива собираться вновь и вновь всякий раз позволяет массе избежать распада. Ее ждет какое-то здание, оно существует специально ради нее, и, покуда оно существует, масса будет собираться здесь и впредь. Это пространство принадлежит ей даже во время отлива, и в своей пустоте оно предвещает время прилива.

### Разрядка

Важнейший процесс, происходящий внутри массы, разрядка. До нее массы в собственном смысле слова еще не существует, по-настоящему ее создает разрядка. Это миг, когда все, принадлежащие к ней, отбрасывают различия и чувствуют себя равными.

Имеются в виду, прежде всего, обусловленные внешне должностные, социальные, имущественные различия. Каждый по отдельности человек обычно очень хорошо их чувствует. Они тяжело его гнетут, поневоле и неизбежно разъединяют людей. Человек, занимающий определенное, надежное место, чувствует себя вправе никого к себе близко не подпускать. Он стоит, выразительный, полный уважения к себе, словно ветряная мельница среди просторной равнины; до следующей мельницы далеко, между ними пустое пространство. Вся известная ему жизнь основана на чувстве дистанции; дом, которым он владеет и в котором запирается, должность, которую он занимает, положение, к которому он стремится, все служит тому, чтобы укрепить и увеличить расстояние между ним и другим. Свобода какого-

либо более глубокого движения от человека к человеку ограничена. Все порывы, все ответные попытки иссякают, как в пустыне. Никому не дано приблизиться к другому, никому не дано сравняться с другим. Прочно утвердившиеся иерархии в любой области жизни не позволяют никому дотянуться до более высокого уровня или опуститься на более низкий, разве что чисто внешне. В разных обществах соотношения этих дистанций между людьми бывают различными. В некоторых решающую роль играет происхождение, в других род занятий или имущественное положение.

Здесь не место подробно характеризовать эти субординации. Важно отметить, что они существуют повсюду, повсюду осознаются и решающим образом определяют отношения между людьми. Удовольствие занимать в иерархии более высокое положение не компенсирует утраты в свободе движения. Застывший и мрачный, человек стоит на отдалении от других. На его плечах тяжкий груз, и он не может сдвинуться с места. Он забывает, что сам взвалил эту тяжесть на себя, и мечтает от нее освободиться. Но как ему это сделать? Что бы он ни решил, как бы ни старался, он живет среди других, которые сведут все его усилия на нет. Пока они сами продолжают соблюдать дистанцию, ему не приблизиться к ним ни на шаг.

\* \* \*

Освободиться от этого сознания дистанции можно лишь сообща. Именно это и происходит в массе. Разрядка позволяет отбросить все различия и почувствовать себя равными. В тесноте, когда между людьми уже нет расстояния, когда тело прижа-

то к телу, каждый ощущает другого как самого себя. Облегчение от этого огромно. Ради этого счастливого мгновения, когда никто не чувствует себя больше, лучше другого, люди соединяются в массу.

Но миг разрядки, столь желанный и столь счастливый, таит в себе и свои опасности. Уязвима главная иллюзия, которую он порождает: ведь люди, вдруг ощутившие себя равными, не стали равными взаправду и навсегда. Они возвращаются каждый в свой дом, ложатся спать каждый в свою постель. Каждый сохраняет свое имущество. Никто не отказывается от своего имени. Никто не прогоняет своих родственников. Никто не убегает от своей семьи. Лишь когда дело доходит до действительно серьезных перемен, люди порывают старые связи и вступают в новые. Такого рода союзы, которые по своей природе могут охватить лишь ограниченное число участников и, чтобы обеспечить свою устойчивость, должны устанавливать жесткие правила, я называю кристаллами масс. О них еще будет сказано подробнее.

Но сама масса распадается. Она чувствует, что распадется. Она боится распада. Она может сохраниться лишь в том случае, если процесс разрядки продолжится, если он вовлечет в себя людей, примкнувших к ней. Лишь рост массы дает возможность принадлежащим к ней не возвращаться к грузу своих частных тягот.

### **Жажда разрушения**

О страсти массы к разрушению говорится часто, это первое, что в ней бросается в глаза, и нельзя отрицать, что эту страсть действительно можно

наблюдать всюду, в самых разных странах и культурах. Все это констатируют и осуждают, но никто по настоящему не объясняет.

Больше всего масса любит разрушать дома и предметы. Поскольку имеются в виду чаще всего предметы хрупкие, такие, как оконные стекла, зеркала, горшки, картины, посуда, принято считать, что именно хрупкость предметов побуждает массы их разрушать. Несомненно, шум разрушения, звук разбиваемой посуды, звон оконных стекол немало добавляет к удовольствию от процесса: это мощные звуки новой жизни, крик новорожденного. То, что их легко вызвать, делает их еще более желанными, все кричит на разные голоса, и вещи рукоплещут, звеня. Особенно бывает нужен, очевидно, такого рода шум в самом начале, когда собралось еще не слишком много народа и событий еще мало или вообще не произошло. Шум сулит приход подкрепления, на него надеются, в нем видят счастливое предвестие грядущих дел. Но неверно было бы полагать, что решающую роль здесь играет легкость разрушения. Набрасывались и на скульптуры из твердого камня и не успокаивались, покуда не уродовали их до неузнаваемости!

Христиане отбивали головы и руки греческим богам. Реформаторы и революционеры порой низвергали изображения святых с таких высот, что это бывало небезопасно для жизни, а камень, который пытались разрушить, нередко оказывался таким твердым, что цели удавалось добиться лишь отчасти.

Разрушение произведений искусства, которые что-то изображают, есть разрушение иерархии, которую больше не признают. Атаке подвергаются установленные дистанции, для всех очевидные и обще-

признанные. Их прочность соответствует их незыблемости, они существовали издавна, как полагают, испокон веков, стояли прямо и непоколебимо; и невозможно было приблизиться к ним с враждебными намерениями. Теперь они низвергнуты и разбиты на куски. В этом акте осуществилась разрядка.

Но она не всегда заходит так далеко. Обычное разрушение, о котором шла речь вначале, есть не что иное, как атака на всяческие границы. Окна и двери — принадлежность домов, они самая уязвимая их часть, ограничивающая внутреннее пространство от внешнего мира. Если разбить двери и окна, дом теряет свою индивидуальность. Кто угодно и когда угодно может туда войти, ничто и никто внутри не защищены. Но в этих домах обычно прячутся, как считают, люди, пытавшиеся обособиться от массы, ее враги. Теперь то, что их отделяло, разрушено. Между ними и массой нет ничего. Они могут выйти и присоединиться к ней. Можно их заставить сделать это.

\* \* \*

Но и это еще не все. Каждый в отдельности человек испытывает чувство, что в массе он выходит за пределы своей личности. Он ощущает облегчение от того, что утратили силу все дистанции, заставлявшие его замыкаться в самом себе, отбрасывавшие его назад. Освободившись от этого груза, он чувствует себя свободным, а значит, может преступить собственные границы. То, что произошло с ним, должно произойти также с другими, он ждет подобного от них. Какой-нибудь глиняный горшок раздражает его тем, что это, в сущности, тоже гра-

ница. В доме его раздражают закрытые двери. Ритуалы и церемонии, все, что способствует сохранению дистанции, он ощущает как угрозу, и это для него невыносимо. Повсюду массу пытаются расчленивать, вернуть в заранее навязанные пределы. Она ненавидит свои будущие тюрьмы, которые были для нее тюрьмами и прежде. Ничем не прикрытой массе все кажется Бастилией.

Самое впечатляющее из всех разрушительных средств — огонь. Он виден издали и привлекает других. Он разрушает необратимо. После огня ничто не вернется в прежнее состояние. Масса, разжигающая огонь, чувствует, что перед ней не устоит ничто. Пока он распространяется, ее сила растет. Он уничтожает все враждебное ей. Огонь, как еще будет показано, самый мощный символ массы. Как и она, он после всех причиненных им разрушений должен утихнуть.

## Прорыв

Открытая масса это масса в собственном смысле слова, которая свободно отдается своему естественному стремлению к росту. Открытая масса не имеет ясного чувства или представления, насколько большой она могла бы стать. Она не привязана ни к какому заранее известному помещению, которое ей требовалось бы заполнить. Ее размер не определен; она склонна расти до бесконечности, а для этого ей нужно лишь одно: больше и больше людей. В этом голом состоянии масса особенно приметна. При этом она воспринимается как что-то необычное, а поскольку она рано или поздно распадается,

ее трудно сполна оценить. Наверно, к ней и дальше не относились бы с достаточной серьезностью, если бы чудовищный прирост населения и быстрое разрастание городов, характерное для нашей современной эпохи, не способствовали все более частому ее возникновению.

Закрытые массы прошлого, о которых еще будет идти речь, превратились в организации для посвященных. Своеобразное состояние, характерное для их участников, кажется чем-то естественным; ведь собирались всегда ради какой-то определенной цели: религиозной, торжественной или военной, и состояние, казалось бы, определялось этой целью. Пришедший на проповедь наверняка пребывал в искреннем убеждении, что его интересует проповедь, и он бы удивился, а может быть, и возмутился, скажи ему кто-то, что больше самой проповеди ему приятно множество присутствующих. Смысл всех церемоний и правил, характерных для таких организаций, в сущности, удержание массы: лучше надежная церковь, полная верующих, чем весь ненадежный мир. Равномерность посещения церкви, привычное и неизменное повторение определенных ритуалов обеспечивали массе своего рода массовые переживания, только введенные в какое-то русло, рамки. Исполнение этих обрядов в строго определенное время заменяет потребность в чем-то более суровом и сильном.

Возможно, таких учреждений было бы достаточно, оставаясь число людей примерно одинаковым. Но в города прибывает все больше жителей, рост народонаселения в последние сто лет происходит нарастающими темпами. Тем самым создавались и предпосылки для образования новых, более крупных масс, и ничто, в том числе самое опытное

и умелое руководство, не способно было при таких условиях остановить этот процесс.

Выступления против традиционного церемониала, о которых рассказывает история религии, всегда были направлены против ограничения массы, которая в конечном счете хотела вновь ощутить свой рост. Вспомним Нагорную проповедь Нового завета: она звучала под открытыми небесами, ее могли слушать тысячи, и она была направлена, в этом нет никакого сомнения, против ограничительного церемониала официального храма. Вспомним стремление христианства во времена апостола Павла вырваться из национальных, племенных границ еврейства и стать универсальной религией для всех людей. Вспомним о презрении буддизма к кастовой системе тогдашней Индии.

Событиями подобного рода богата и внутренняя история отдельных мировых религий. Храм, каста, церковь всегда оказываются слишком тесными. Крестовые походы порождают массы таких размеров, что их не могло бы вместить ни одно церковное здание тогдашнего мира. Позднее флагелланты устраивают свои действия на глазах у целых городов, причем они еще путешествуют из города в город. Проповедник Весли еще в XVIII веке организует свое движение методистов, устраивая проповеди под открытым небом. Он прекрасно создает, как важно привлечь к себе большие массы, и не раз отмечает в своем дневнике, сколько людей слушало его на этот раз. Прорыв из закрытых помещений, где принято собираться, всегда означает желание массы вернуть себе прежнюю способность к внезапному, быстрому и неограниченному росту.

Итак, прорывом я называю внезапный переход закрытой массы в открытую. Такое случается часто, однако не следует понимать этот процесс как чисто пространственный. Порой впечатление такое, как будто масса вытекает из помещения, где она была надежно укрыта, на площадь и на улицы города, где она, все в себя вбирая и всему открытая, получает полную свободу действий. Но важнее этого внешнего процесса соответствующий ему процесс внутренних: неудовлетворенность ограниченным числом участников, внезапное желание привлечь к себе других, страстная решимость вобрать всех.

Со времен Французской революции такие прорывы приняли форму, которую можно назвать современной. Очевидно, потому, что масса в значительной мере отказалась от связи с традиционными религиями, нам стало с тех пор легче наблюдать ее, так сказать, в голом, биологическом виде, вне трансцендентных толкований и целей, которые она позволяла себе внушать прежде. История последних 150 лет отмечена быстрым возрастанием числа подобных прорывов; это относится даже к войнам, которые стали массовыми. Массе уже недостаточно благочестивых правил и обетов, ей хочется самой ощутить в себе великое чувство животной силы, способность к страстным переживаниям. Единственный перспективный путь тут — образование двойной массы, когда одна масса может сопоставлять себя с другой. Чем ближе обе по силе и интенсивности, тем дольше, меряясь друг с дружкой, смогут они продлить свое существование.

К наиболее бросающимся в глаза чертам жизни массы принадлежит нечто, что можно назвать чувством преследования. Имеется в виду особая возбужденность, гневная раздражительность по отношению к тем, кто раз и навсегда объявлен врагом. Эти люди могут вести себя как угодно, быть грубыми или предупредительными, участливыми или холодными, жесткими или мягкими, — все воспринимается как проявление безусловно дурных намерений, недобрых замыслов против массы, заведомым стремлением откровенно или исподтишка ее разрушить.

Чтобы объяснить это чувство враждебности и преследования, нужно опять же исходить из того основного факта, что масса, однажды возникнув, желает как можно быстрее расти. Трудно переоценить силу и настойчивость, с какой она распространяется. Она чувствует, что растет, например, в революционных процессах, которые зарождаются в маленьких, однако полных напряжения массах; она воспринимает как помеху всякое противодействие своему росту. Ее можно рассеять или разогнать с помощью полиции, однако это оказывает воздействие чисто временное, как будто рукой согнали рой мух. Но она может быть атакована и изнутри, если требования, которые привели к ее образованию, оказались удовлетворены. Тогда слабые от нее отпадают; другие, собравшиеся к ней примкнуть, поворачивают на полпути.

Нападение на массу извне может лишь ее укрепить. Физический разгон лишь сильнее сплачивает людей. Гораздо опаснее для нее нападение изнутри. Забастовка, добившаяся каких-то выгод, начинает

распадаться. Нападение изнутри апеллирует к индивидуальным прихотям. Масса воспринимает его как подкуп, как нечто «аморальное», поскольку оно подрывает чистоту и ясность первоначальных построений. В каждом члене такой массы таится маленький предатель, который хочет есть, пить, любить, который желает покоя. Покуда это для него не так важно, покуда он не придаст этому слишком большого значения, его никто не трогает. Но едва он заявит об этом вслух, его начинают ненавидеть и бояться. Становится ясно, что он поддался на вражескую приманку.

\* \* \*

Масса всегда представляет собой нечто вроде осажденной крепости, но осажденной вдвойне: есть враг, стоящий перед ее стенами, и есть враг в собственном подвале. В ходе борьбы она привлекает все больше приверженцев. Перед всеми воротами собираются прибывающие друзья и бурно стучатся, чтобы их впустили. В благоприятные моменты эту просьбу удовлетворяют; иногда они перелезают и через стены. Город все больше и больше наполняется борцами; но каждый из них приносит с собой и маленького невидимого предателя, который поскорее ныряет в подвал. Осада состоит в попытках не допустить в город перебежчиков. Для врагов внешних стены важнее, чем для осажденных внутри. Это осаждающие все время их надстраивают и делают выше. Они пытаются подкупить перебежчиков и, если их нельзя удержать, заботятся о том, чтобы маленькие предатели, уходящие вместе с ними, прихватили с собой в город достаточный запас враждебности.

Чувство преследования, которому подвержена масса, есть не что иное, как чувство двойной угрозы. Кольцо внешних стен сжимается все сильнее и сильнее, подвал внутри становится все больше и больше. Что делает перед стенами враг, всем хорошо видно; но в подвалах все совершается тайно.

Впрочем, образы такого рода обычно раскрывают лишь часть истины. Прибывающие извне, желающие проникнуть в город для массы не только новые приверженцы, подкрепление, опора, это и ее питание. Масса, переставшая расти, пребывает как бы в состоянии поста. Существуют средства, позволяющие выдержать такой пост; религии достигли по этой части немалою мастерства. Дальше еще будет показано, как мировым религиям удастся сохранять массы своих приверженцев, даже если не происходит их большого и быстрого роста.

### **Уиращение масс в мировых религиях**

Религии, претендующие на универсальность, добившиеся признания, очень скоро изменяют акцент в своей борьбе за души людей. Первоначально речь для них идет о том, чтобы охватить и привлечь к себе всех, кого только возможно. Они мечтают о массе универсальной; для них важна каждая отдельная душа, и каждую они желают заполучить. Но борьба, которую им приходится вести, постепенно порождает нечто вроде скрытого уважения к противнику с ею уже существующими институтами. Они видят, как непросто им держаться. Поэтому институты, обеспечивающие единство и устойчивость, кажутся им все более важными. Побуждаемые приме-



ром противников, они прилагают все усилия, чтобы самим создать нечто подобное, и, если им это удастся, со временем такие институты становятся для них главным. Они начинают жить уже сами по себе, обретают самоценность и постепенно укрощают размах первоначальной борьбы за души. Церкви строятся таких размеров, чтобы вместить тех верующих, которые уже есть. Увеличивают их число осторожно и с оглядкой, когда это действительно оказывается необходимо. Заметно сильное стремление собирать верующих по группам. Именно потому, что их теперь стало много, увеличивается склонность к распаду, а значит, опасность, которой надо все время противодействовать.

Чувство коварства массы, можно сказать, в крови у исторических мировых религий. Их собственные традиции, на которых они учатся, напоминают им, как неожиданно, вдруг это коварство может проявиться. Истории массовых обращений в их же веру кажутся им чудесными, и они таковы на самом деле. В движениях отхода от веры, которых церкви боятся и потому преследуют, такого рода чудо обращается против них, и раны, которые они ощущают на своей шкуре, болезненны и незабываемы. Оба процесса, бурный первоначальный рост и не менее бурный отток, потом питают их постоянное недоверие к массе.

Они хотели бы видеть нечто противоположное ей — послушную паству. Недаром принято говорить о верующих как об овцах и хвалить их за послушание. Пастве совершенно чуждо то, что так важно для массы, а именно стремление к быстрому росту. Церковь довольствуется временной иллюзией равенства между верующими, на которой, однако, не слиш-

ком строго настаивает, определенной, причем умеренной плотностью и выдержанностью курса. Цель она предпочитает указывать очень отдаленную, где-то в потусторонней жизни, куда вовсе не нужно тотчас спешить, пока еще жив, ее еще нужно заслужить трудом и послушанием. Направление постепенно становится самым главным. Чем дальше цель, тем больше шансов на устойчивость. Как будто бы непрменный принцип роста заменяется другим, весьма от него отличным: повторением.

Верующие собираются в определенных помещениях, в определенное время и при помощи одних и тех же действий приводятся в состояние, присущее массе, но состояние смягченное; оно производит на них впечатление, не становясь опасным, и они к нему привыкают. Чувство единства отпускается им дозированно. От правильности этой дозировки зависит устойчивость церкви.

\* \* \*

В каких бы церквях или храмах ни приучились люди к этому точно повторяемому и точно отмеренному переживанию, им уже от него никуда не уйти. Оно уже становится для них таким же непрменным, как еда и все, что обычно составляет их существование. Внезапный запрет их культа, подавление их религии государственной властью не может остаться без последствий. Нарушение тщательного баланса в их массовом хозяйстве может спустя время привести к вспышке открытой массы. И уже эта масса проявляет тогда все свои известные основные свойства. Она бурно распространяется. Она осуществляет подлинное равенство взамен фиктивного. Она обре-

тает новую и гораздо более интенсивную плотность. Она отказывается на время от той далекой и труднодостижимой цели, для которой воспитывалась, и ставит перед собой цель здесь, в этой конкретной жизни с ее непосредственными заботами.

Все религии, подвергавшиеся внезапному запрету, мстили за себя чем-то вроде секуляризации. Сильная, неожиданно дикая вспышка совершенно меняет характер их веры, хотя сами они не понимают природы этой перемены. Они считают эту веру еще прежней и полагают, что лишь стараются сохранить свои глубочайшие убеждения. На самом деле они вдруг совершенно меняются, обретая острое и своеобразное чувство, присущее открытой массе, которую они теперь образуют и которой во что бы то ни стало хотят оставаться.

## Паника

Паника в театре, как уже часто бывало замечено, это распад массы. Чем сильнее объединяло людей представление, чем более замкнута форма театра, который держит их вместе внешне, тем более бурно происходит распад.

Впрочем, может быть и так, что само по себе представление еще не создает настоящей массы. Часто оно вовсе не захватывает публику, которая не расходится просто потому, что уже пришла. То, чего не удалось вызвать пьесе, тотчас делает огонь. Он не менее опасен для людей, чем звери, самый сильный и самый древний символ массы. Весть об огне внезапно обостряет всегда присутствовавшее в публике чувство массы. Общая, несомненная опасность по-

рождает общий для всех страх. На какое-то время публика становится подлинной массой. Будь это не в театре, можно было бы вместе бежать, как бежит стадо зверей от опасности, черпая дополнительную энергию в единой направленности движения. Такого рода активный массовый страх великое коллективное переживание всех животных, которые живут стадом, быстро бегают и вместе спасаются.

В театре, напротив, распад массы носит насильственный характер. Двери могут пропустить одновременно лишь одного или нескольких человек. Энергия бегства сама собой становится энергией, отбрасывающей назад. Между рядами стульев может протиснуться лишь один человек, здесь каждый тщательно отделен от другого, каждый сидит сам по себе, на своем месте. Расстояние до ближайшей двери для каждого разное. Нормальный театр рассчитан на то, чтобы закрепить людей на месте, оставив свободу лишь их рукам и голосам. Движение ног по возможности ограничивается.

Таким образом, внезапный приказ бежать, который происходит от огня, вступает в противоречие с невозможностью совместного движения. Дверь, через которую каждый должен протиснуться, которую он видит, в которой он видит себя, резко отделена от всех прочих, это рама картины, которая очень скоро овладевает его мыслями. Так что масса подвергается насильственному распаду как раз на вершине своего самоощущения. Резкость перемены проявляется в самых сильных, индивидуальных действиях: люди толкаются, бьются, бешено колотят вокруг.

Чем больше человек борется «за свою жизнь», тем яснее становится, что борется он против других, которые мешают ему со всех сторон. Они вы-

ступают здесь в той же роли, что и стулья, балюстрады, закрытые двери, с той только разницей, что эти другие еще движутся против тебя. Они теснят тебя отовсюду, откуда только хотят, вернее, откуда теснят их самих. Женщин, детей, стариков щадят не больше чем мужчин, здесь просто никого не различают. Это характерно для массы, где все равны; и хотя каждый уже не ощущает себя частицей массы, он все еще ею окружен. Паника это распад массы внутри массы. Отдельный человек отпадает от нее в момент, когда ей как целому грозит опасность, он хочет от нее отделиться. Но так как он физически еще принадлежит ей, он вынужден против нее бороться. Довериться ей теперь означало бы для него гибель, поскольку гибель грозит ей самой. В такой момент он делает все, чтобы как угодно выделиться. Ударами и пинками он навлекает на себя ответные удары и пинки. Чем больше он их раздает, чем больше получает в ответ, тем яснее он ощущает себя, тем отчетливей начинает вновь осознавать границы собственной личности.

\* \* \*

Интересно наблюдать, как много общего оказывается между массой и пламенем для вовлеченных в эту борьбу. Масса возникает благодаря неожиданному виду огня или возгласу «Пожар!»; подобно пламени она играет с тем, кто пытается из нее вырваться. Люди, которых этот человек расталкивает, для него словно горящие предметы, их прикосновение к любому месту тела враждебно ему, оно его пугает. Это общее чувство враждебности, напоминающее об огне, захватывает каждого, кто попадается

на пути; то, как он постепенно подступает к каждому предмету отдельно и наконец полностью его охватывает, весьма напоминает поведение массы, грозящей человеку со всех сторон. Движения в ней непредсказуемы, вдруг вырывается из нее рука, кулак, нога, точно языки пламени, которые могут взвиться внезапно и где угодно. Огонь, приобретший вид лесного или степного пожара, есть враждебная масса, каждый человек может это ярко почувствовать. Огонь вошел в его душу как символ массы и таким остается в его сознании. А когда приходится видеть, как в панике старательно и как будто бессмысленно топчут ногами человека, это есть не что иное, как растаптывание огня.

Панику как распад можно предотвратить лишь в том случае, если продлить первоначальное состояние общего массового страха. Это возможно в церкви, которой что-то грозит: тогда в общем страхе начинают молиться общему Богу, ибо ему одному дано совершить чудо потушить огонь.

## **Свойства массы**

Уместно вкратце обобщить главные свойства массы. Можно выделить следующие четыре черты:

1. Масса хочет постоянно расти. Природных границ для ее роста не существует. Там, где такие границы искусственно созданы, то есть в институтах, служащих сохранению замкнутой массы, всегда возможен и время от времени происходит прорыв массы. Безусловно надежных учреждений, которые могли бы раз и навсегда помешать приросту массы, не существует.

2. Внутри массы господствует равенство. Оно абсолютно, бесспорно и никогда не ставится под вопрос самой массой. Оно имеет такое фундаментальное значение, что можно определить состояние массы именно как состояние абсолютного равенства. У всех есть головы, у всех есть руки, а чем там они отличаются, не так уж важно. Ради этого равенства и становятся массой. Все, что могло бы от этого отвлечь, не стоит принимать во внимание. Все лозунги справедливости, все теории равенства вдохновлены в конечном счете этим опытом равенства, который каждый по-своему пережил в массе.

3. Масса любит плотность. Никакая плотность для нее не чрезмерна. Не должно быть никаких перегородок, ничего чужеродного внутри, все должно по возможности ей принадлежать. Чувство наибольшей плотности она получает в момент разрядки. Возможно, еще удастся подробней определить и измерить эту плотность.

4. Массе нужно направление. Она находится в движении и движется к чему-то. Общность направления для всех, кто к ней принадлежит, усиливает чувство равенства. Цель, лежащая вне каждого в отдельности и относящаяся ко всем, вытесняет частные, неравные цели, которые были бы для массы смертельны. Для того чтобы она существовала, ей необходимо направление. Поскольку масса всегда боится распада, ее можно направить к какой-то цели. Но тут существует еще и темная инерция движения, зовущая к новым, более важным связям. Часто нет возможности предсказать, какого рода будут эти связи.

Каждое из четырех обозначенных здесь свойств может играть большую или меньшую роль.

## ТОЛПЫ — ВМЕСТО ОБЩЕСТВА.

### СИНДРОМЫ ТОЛПЫ<sup>1</sup>

#### **Индивид и масса**

Английский психолог Бартлетт в одной классической работе очень точно замечает по поводу человека государства: «Великая тайна всякого поведения — это общественное поведение. Я вынужден был им заниматься всю свою жизнь, но я не претендовал бы на то, что понимаю его. У меня сложилось впечатление, что я проник насквозь в глубину человеческого существа, но, однако, ни в малейшей степени не осмелился бы утверждать ничего о том, как он поведет себя в группе».

Откуда такое сомнение? Почему же невозможно предсказать поведение друга или близкого человека, когда он будет находиться на совещании специалистов, на партийном собрании, в суде присяжных или в толпе? На этот вопрос всегда отвечают следующим образом: потому, что в социальной ситуации люди ведут себя недобросовестно, не обнаруживают своих лучших качеств. Даже напротив! И речи не идет о том, чтобы добавить нечто друг другу, взаимно усовершенствоваться, — нет, их достоинства имеют тенденцию убывать и приходить в упадок. В самом деле, уровень человеческой общности стремится к низшему уровню ее членов. Тем

---

<sup>1</sup> Из книг С. Московичи «Век толп» и «Машина, творящая богов». Перевод с французского Т. Емельяновой, Г. Дилигенского.

самым все могут принимать участие в совместных действиях и чувствовать себя на равной ноге. Таким образом, нет оснований говорить, что действия и мысли сводятся к «среднему», они скорее на нижней отметке. Закон множества мог бы именоваться законом посредственности: то, что является общим для всех, измеряется аршином тех, кто обладает меньшим. Короче говоря, в сообществе первые становятся последними.

Никакого труда не составило бы выстроить обширную антологию, доказывающую, что эта концепция распространяется на все народы. Так, Солон утверждал, что один отдельно взятый афинянин — это хитрая лисица, но когда афиняне собираются на народные собрания в Пниксе<sup>1</sup>, уже имеешь дело со стадом баранов. Фридрих Великий очень высоко ценил своих генералов, когда беседовал с каждым из них по отдельности. Но при этом говорил о них, что собранные на военный совет, они составляют не более чем кучку имбецилов. Поэт Грильпарцер утверждал: «Один в отдельности взятый человек довольно умен и понятлив; люди, собранные вместе, превращаются в дураков».

Немецкие поэты были не единственными, кто констатировал этот факт. Задолго до них римляне придумали поговорку, которая имела большой успех: «*Senatores omnes boni viri, senatus romanus mala bestia*», — сенаторы — мужи очень достойные, римский сенат — это скверное животное. Так они определяли контраст вероятных достоинств каждого сенатора в отдельности и неблагоприятное, не-

---

<sup>1</sup> П н и к с — холм в западной части древних Афин, напротив Акрополя, служивший местом народных собраний — Примеч. пер.

осмотрительность и нравственную уязвимость, запятнавшую совместные обсуждения в собрании, от которых зависели тогда мир или война в античном обществе. Возвращаясь к этой пословице, Альберт Эйнштейн восклицает: «Сколько бед такое положение вещей причиняет человечеству! Оно является причиной войн, наводняющих землю скорбью, стонами и горечью».

А итальянский философ Грамши, имевший богатый человеческий опыт и много размышлявший над природой масс, дал ей очень точную интерпретацию. Как он полагает, пословица означает: «Что толпа людей, ведомых их непосредственными интересами или ставших жертвой страсти, вспыхнувшей в ответ на сиюминутные впечатления, без какой-либо критики передаваемые из уст в уста, эта толпа объединяется для того, чтобы принять вредное коллективное решение, соответствующее самым что ни на есть звериным инстинктам. Это верное и реалистическое наблюдение, если только оно относится к случайным толпам, которые собираются как «толпа во время ливня под навесом», состоящая из людей, не несущих никакой ответственности перед другими людьми или группами, либо связанных с какой-то конкретной экономической реальностью — это деградация, которая аналогична личностному упадку».

Эта интерпретация подчеркивает двойной аспект одного и того же упрямого и фундаментального факта: взятый в отдельности, каждый из нас в конечном счете разумен; взятые же вместе, в толпе, во время политического митинга, даже в кругу друзей, мы все готовы на самые последние сумасбродства.

\* \* \*

Всякий раз, когда люди собираются вместе, в них скоро начинает обрисовываться и просматриваться толпа. Они перемешиваются между собой, преобразуются. Они приобретают некую общую сущность, которая подавляет их собственную; им внушается коллективная воля, которая заставляет умолкнуть их личную волю. Такое давление представляет собой реальную угрозу, и многие люди ощущают себя уничтоженными.

При встрече с таким материализованным, передвигающимся, кишачим общественным животным некоторые слегка отступают, прежде чем броситься туда с головой, другие испытывают настоящую фобию. Все эти реакции характеризуют влияние толпы, психологические отклики на нее, а через них и те, уже рассмотренные, эффекты, которые ей приписывают. Мопассан описал их с такой поразительной точностью, на которую способны немногие ученые: «Впрочем, — пишет он, — я еще и по другой причине испытываю отвращение к толпам. Я не могу ни войти в театр, ни присутствовать на каком-то публичном празднестве. Я тотчас начинаю ощущать какую-то странную нестерпимую дурноту, ужасную нервозность, как если бы я изо всех сил боролся с каким-то непреодолимым и загадочным воздействием. И я на самом деле борюсь с этой душой толпы, которая пытается проникнуть в меня. Сколько раз я говорил, что разум облагораживается и возвышается, когда мы существуем в одиночку, и что он угнетается и принижается, когда мы перемешиваемся с другими людьми. Эти связи, эти общеизве-

стные идеи, все, о чем говорят, что мы вынуждены слушать, слышать и отвечать, действует на способность мыслить. Приливы и отливы идей движутся из головы в голову, из дома в дом, с улицы на улицу, из города в город, от народы к народу, и устанавливается какой-то уровень, средняя величина ума для целой многочисленной массы людей. Качества разумной инициативы, свободной воли, благонравного размышления и даже понимания любого отдельного человека полностью исчезают с того момента, как индивидуум смешивается с массой людей».

Несомненно, что мы здесь имеем дело с рядом предвзятых идей Мопассана, с его предубеждением против толпы и его переоценкой индивида, не всегда обоснованной. Следовало бы даже сказать, рядом предвзятых идей его времени и его класса. Но описание связи между человеком и сообществом (или между художником и массой), которая устанавливается в трех его фразах: инстинктивный страх, тревожное ощущение непреодолимой утраты, наконец, гигантская круговерть загадочных, почти осязаемых, если не видимых воздействий, — все это кричащая правда.

А тенденция к обезличиванию умов, параличу инициативы, порабощению коллективной душой индивидуальной души — все это следствия погружения в толпу. Это не единственные, но наиболее частые ощущения. Ужас, переживаемый Мопассаном, помогает ему определить две причины испытываемой дурноты: он полагает, что утрачивает способность владеть рассудком, собственные реакции кажутся ему чрезмерными и в эмоциональном плане доведенными до крайности. И он, таким образом, приходит к постановке тех же самых вопросов, которыми задаются ученые, размышляющие над описанным явлением.

«Одно народное изречение гласит, — пишет он, — что толпа «не рассуждает». Однако почему же толпа не рассуждает, в то время как каждый индивид из этой толпы, взятый в отдельности, рассуждает? Почему эта толпа стихийно совершит то, чего не совершит ни одна из ее единиц? Почему эта толпа обладает непреодолимыми импульсами, хищными желаниями, тупыми увлечениями, которых ничто не остановит и, охваченная одной и той же мыслью, мгновенно становящейся общей, невзирая на сословия, мнения, убеждения, различные нравы, набросится на человека, искалечит его, утопит беспричинно, почти что беспричинно, тогда как каждый, если бы он был один, рискуя жизнью, бросился бы спасти того, кого сейчас убивает».

\* \* \*

Эти строки, такие верные по тону и точные по мысли, не нуждаются в комментариях. Невозможно лучше сказать то, что так мастерски выразил писатель. Однако Мопассан в одном пункте ошибается. Не одно только народное изречение отрицает разумность человеческих групп и сообществ. В подтверждение существования этих двух моделей, ему вторят философы, выражая расхожее мнение.

«Справедливые и глубокие идеи индивидуальны, — пишет Зиновьев. — Идеи ложные и поверхностные являются массовыми. В массе своей народ ищет ослепления и сенсации».

Симона Вейль, французский философ, широко известная своим нравственным пафосом, поддерживает это мнение: «В том, что касается способности мыслить, связь обратная; индивид превосходит

сообщество настолько, насколько нечто превосходит ничто, так как способность мыслить появляется только в одном, предоставленном самому себе разуме, а общности не мыслят вовсе».

Эти тексты ясно демонстрируют, что вокруг основной идеи установилось полное согласие: группы и массы живут под влиянием сильных эмоций, чрезвычайных аффективных порывов. И тем более, что им изменяют разумные средства владения аффектами. Одиночный индивид, присутствующий в толпе, видит свою личность глубоко в этом смысле измененной. Он становится другим, не всегда, впрочем, это осознавая. Именно «мы» говорит через его «Я».

Я так подробно остановился на этом, для того, чтобы сделать акценты на этих идеях. Дело в том, что, под предлогом их общеизвестности, зачастую проявляется тенденция скользить по поверхности. Доходит даже до их умалчивания, в то время как они являются основой целого ряда общественных отношений и актов.

\* \* \*

Вот ведь какая проблема встает. Вначале есть только люди. Как же из этих социальных атомов получается коллективная совокупность? Каким образом каждый из них не только принимает, но выражает как свое собственное мнение, которое пришло к нему извне? Ведь именно человек впитывает в себя, сам того не желая, движения и чувства, которые ему подсказываются. Он открыто учиняет разнужданные расправы, причин и целей которых даже не ведает, оставаясь в полной уверенности, что он знает о них. Он даже склонен видеть несуществующую

щее и верит любой молве, слетающей с уст и достигающей его слуха, не удостоверившись как следует. Множество людей погрязают таким образом в социальном конформизме. За разумную истину они принимают то, что в действительности является общим консенсусом.

Феноменом, ответственным за столь необычное превращение, становится внушение или влияние. Речь идет о своего рода воздействии на сознание: какое-то приказание или сообщение с убеждающей силой заставляют принять некую идею, эмоцию, действие, которые логически человек не имел ни малейшего разумного основания принимать. У людей появляется иллюзия, что они принимают решение сами, и они не отдают себе отчета в том, что стали объектом воздействия или внушения. Фрейд четко обозначил специфику этого феномена: «Я хотел бы высказать мнение относительно различия между внушением и другими типами психического воздействия, такими, как отданный приказ, информирование или инструкция; так вот, в случае внушения в голове другого человека вызывается какая-то идея, не проверенная с самого начала, а принятая в точности так, как если бы она стихийно сформировалась в его голове».

Соответственно, здесь еще и загадка производимого перевертыша: каждый считает себя причиной того, чему он является лишь следствием, голосом там, где он только эхо; у каждого иллюзия, что он один обладает тем, что, по правде говоря, он делит с другими. А в конечном счете каждый раздваивается и преображается. В присутствии других он становится совсем иным, чем когда он один. У него не одно и то же поведение на людях и в частной жизни.

Я хотел бы заключить этот обзор одной аналогией: внушение или влияние — это в коллективном плане то, что в индивидуальном плане является неврозом. Оба предполагают: уход от логического мышления, даже его избегание, и предпочтение алогичного мышления; раскол рационального и иррационального в человеке, его внутренней и внешней жизни.

И в том и в другом случае наблюдается утрата связи с реальностью и потеря веры в себя. Соответственно, человек с готовностью подчиняется авторитету группы или вожака (который может быть терапевтом) и становится податливым к приказаниям внушающего. Он находится в состоянии войны с самим собой, войны, которая сталкивает его индивидуальное «Я» с его «Я» социальным. То, что он совершает под влиянием сообщества, находится в полном противоречии с тем, каким он умеет быть рассудительным и нравственным, когда он наедине с самим собой и подчиняется своим собственным требованиям истины.

Я продолжаю аналогию. Так же, как это влияние может охватить и поглотить человека, вплоть до его растворения в такой недифференцированной массе, где он представляет собой не более чем набор имитаций, так и невроз подтачивает сознательный слой личности до такой степени, что его слова и действия становятся не более чем живым повторением травмирующих воспоминаний его детства.

Но совершенно очевидно, что их последствия противоположны. Первое делает индивида способным существовать в группе и надолго лишает способности жить одному. Второй мешает ему сосуществовать с другим, отталкивает его от массы и замы-



кает в себе самом. В итоге воздействие представляет социальное, а невроз — асоциальное начала. Этим не исчерпывается перечисление противоречий, возникающих между двумя антагонистическими тенденциями, состоящими одна в смешении с группой, другая — в защите от нее. Доведенные до крайности в современном обществе, они обострились. Единственное, с чем нам, безусловно, нужно считаться, — с тем, что так называемые коллективные «безумия» имеют иную природу, нежели так называемые индивидуальные «безумия», и нельзя необдуманно выводить одни из других. После всего сказанного очевидно, что первые возникают вследствие избытка социальности, когда индивиды врастают в социальное тело. Вторые же являются результатом неспособности существовать вместе с другими и находить в совместной жизни необходимые компромиссы.

### **Апогей масс**

Разумеется, толпы существовали всегда, невидимые и неслышимые. Но в своеобразном ускоренном движении истории они разорвали пути. Они восстали, став видимыми и слышимыми — и даже несущими угрозу существованию индивидов и классов из-за тенденции все перемешивать и все обезличивать. Маскарадные костюмы сняты, мы их замечаем в самом простом одеянии.

«Со времен Французской революции, — пишет Канетти, — эти взрывы приобрели форму, которую мы считаем современной. Быть может, именно потому, что масса была так скоропалительно освобождена от религиозных традиций, нам сейчас гораздо

проще увидеть ее освобожденной от тех смыслов и целей, которые ей некогда приписывались».

Оглянитесь вокруг: на улицах или на заводах, на парламентских собраниях или в казармах, даже в местах отдыха вы увидите толпы, движущиеся или неподвижные. Некоторые люди проходят сквозь них, как через чистилище. Другие ими поглощаются, чтобы уже никогда не выйти обратно. Ничто не выразило бы сути нового общества лучше, чем определение «массовое». Оно узнаваемо по его многочисленности, по нестабильности связей между родителями и детьми, друзьями и соседями. О нем можно догадаться по тем превращениям, которые испытывает каждый человек, становясь анонимным: реализация присущих ему желаний, страстей, интересов зависит от огромного числа людей. Можно видеть его подверженность приступам общественной тревожности и тенденции уподобляться, соответствовать какой-то коллективной модели.

Мы имеем дело с массивификацией, то есть со смешением и стиранием социальных групп. Пролетарии или капиталисты, люди образованные или невежественные, происхождение мало что значит: одни и те же причины производят одни и те же следствия. Из разных, совершенно разнородных элементов образуется однородное человеческое тело: масса состоит из людей-массы. Это они действующие лица истории и герои нашего времени. Причина в средствах коммуникации, массовой информации, газетах, радио, т.п. и феномене влияния. Внедряясь в каждый дом, присутствуя на каждом рабочем месте, проникая в места отдыха, управляя мнениями и обезличивая их, эти средства превращают человеческие умы в массовый разум. Благодаря своего рода

социальной телепатии у многих людей вызываются одни и те же мысли, одни и те же образы, которые, как радиоволны, распространяются повсюду. Так что в массе они всегда оказываются наготове. Когда это на самом деле происходит, то можно наблюдать волнующее незабываемое зрелище, как множество анонимных индивидов, никогда друг друга не видевших, не соприкасавшихся между собой, охватываются одной и той же эмоцией, реагируют как один на музыку или лозунг, стихийно слитые в единое коллективное существо.

Марсель Мосс<sup>1</sup> подробно описал это превращение: «Все социальное тело одушевлено одним движением. Индивидуумов больше нет. Они становятся, так сказать, деталями одной машины, или, еще лучше, спицами одного колеса, магическое кружение которого, танцующее и поющее, было бы образом совершенным, социально примитивным, воспроизводимым, разумеется, еще и в наши дни в упомянутых случаях, да и в других тоже. Это ритмичное, однообразное и безостановочное движение непосредственно выражает то душевное состояние, когда сознание каждого захвачено одним чувством, одной невысказанной идеей, идеей общей цели. Все тела приходят в одинаковое движение, на всех лицах одна и та же маска, все голоса сливаются в одном крике; не говоря уже о глубине впечатления, производимого ритмом, музыкой и пением. Видеть во всех фигурах отражение своего желания, слышать из всех уст подтверждены своей убежденности, чувствовать себя захваченным без сопротивления всеобщей уверен-

<sup>1</sup> Мосс Марсель (1872—1950) — видный французский этнограф и социолог, племянник и ученик Эмиля Дюркгейма. — Примеч. ред.

ностью. Смешавшиеся в исступлении своего танца, в лихорадке возбуждения, они составляют единенное тело и единую душу. Именно в это время социальное тело действительно существует. Так как в этот момент его клетки-люди, быть может, так же мало отделены друг от друга, как клетки индивидуального организма. В похожих условиях (которые не реализуются в наших обществах даже самыми перевозбужденными толпами, но об этом говорится в другом месте) согласие может творить действительность».

Поразительно, не так ли?

\* \* \*

С того момента, как массы признаны эмблемой нашей цивилизации, они перестают быть продуктом разложения старого режима. Это уже не превращенная форма общественных классов или эффектные артефакты общественной жизни, не повод к приподнятым, красочным описаниям, сделанным зачарованными или потрясенными свидетелями. Они становятся неотъемлемой принадлежностью общества. Они дают ключ как к политике, так и к современной культуре и, наконец, объясняют тревожные симптомы, терзающие нашу цивилизацию.

Жестко и смело, с риском шокировать, психология толп отрицает любое их притязание, и какую бы то ни было способность изменить мир или управлять государством. Им по их природе не свойственно рассуждать, им недостает способности держать себя в узде для того, чтобы выполнять работу, необходимую для выживания и культурного развития, до такой степени это рабы сиюминутных импульсов и существа, подверженные внушению со стороны пер-

вого встречного. Наше общество видело упадок личности и присутствует при апогее масс. Над ним, по сути дела, властвуют иррациональные и бессознательные силы, исходящие из его тайных глубин и вдруг обнаруживающие себя явно. Ле Бон<sup>1</sup> выражает это очень четко: «Неосознанное поведение толпы, подменяющее сознательную деятельность личности, представляет собой одну из характеристик нынешнего века».

Люди, составляющие толпу, ведомы беспредельным воображением, возбуждены сильными эмоциями, не имеющими отношения к ясной цели. Они обладают удивительной предрасположенностью верить тому, что им говорят. Единственный язык, который они понимают, — это язык, минуящий разум и обращенный к чувству.

В цивилизованном обществе массы возрождают иррациональность, вместо того, чтобы уменьшаться в процессе развития цивилизации, ее роль возрастает и укрепляется. Вытесненная из экономики наукой и техникой, иррациональность сосредоточивается на власти и становится ее стержнем. Это явление нарастает: чем меньше времени люди посвящают заботам об общественном благе, тем меньше у них возможностей противостоять коллективному пресингу. Разум каждого отступает перед страстями

---

<sup>1</sup> Ле Бон (Лебон) Гюстав (1841—1931) — французский психолог, врач, антрополог и археолог; одним из первых попытался теоретически обосновать наступление «эры масс» и связать с этим общий упадок культуры. Он полагал, что в силу волевой неразвитости и низкого интеллектуального уровня больших масс людей ими правят бессознательные инстинкты, особенно тогда, когда человек оказывается в толпе. Здесь происходит снижение уровня интеллекта, падает ответственность, самостоятельность, критичность, исчезает личность как таковая. — Примеч. ред.

всех. Он оказывается бессильным господствовать над ними, поскольку эпидемию невозможно остановить по своей воле.

Я повторяю и настаиваю на этом. Классическая политика основана на разуме и интересах. Она обрекает себя на бессилие, поскольку подходит к массе извне, как к простой сумме индивидов. Это происходит не из-за недостатка изобретательности или волевого начала, не из-за неспособности составляющих массу людей из бедных слоев осознать свои интересы и действовать разумно. Напротив, все желали бы установления такого государства, такой демократии, о которой рассуждали теоретики и государственные деятели. Иначе не замысливали бы такого порядка, не стремились бы к его установлению. А если не удастся добиться успеха и все приходит к своей противоположности, это потому, что толпа затягивает в себя, в свой коллективный водоворот. И тогда дело принимает другой оборот вопреки предусмотренному, вопреки психологическим законам. Человек-индивид и человек-масса — это две разные вещи, как достояние в один франк и в миллион. Эту разницу я подытожил бы одной фразой: индивида убеждают, массу внушают.

Ведь демократические идеалы, придуманные меньшинством и для меньшинства, какими бы абсолютными достоинствами они ни обладали, препятствуют, кроме исключительных случаев, формированию стабильного политического режима. Из-за необходимости соответствовать чаяниям большинства, звучать в унисон человеческой природе, эти идеалы рассыпаются в прах. Погоня за ними порождает лишь глубокое разочарование.

Когда иллюзии утрачиваются, слабеют, человеческие общности вместе со своими верованиями при-

ходят в упадок, они мертвеют и опустошаются, утратив самое существенное, как тело, лишенное крови. Люди больше не знают, за кем следовать, кому подчиняться, во имя кого жертвовать собой. Ничто и никто их больше не обязывает к дисциплине, необходимой для цивилизованного труда, ничто и никто не питает их энтузиазма или страсти.

Мир восторгов, мир преданности оказывается опустевшим. И тогда обнаруживаются признаки паники. Страшит возвращение к мертвому безразличию камней пустыни или, в современном варианте, государства. Никто никому там больше не друг и не враг. Практически исчезли границы группы или города. Место народа занимает аморфная совокупность индивидов.

### **Гипноз в массе**

Как только открывается новый класс феноменов, их нужно объяснять. Какова причина изменений, которым подвергается индивид, когда он попадает в толпу? Состояние человека, находящегося в массе, всегда сравнивали с сумеречным состоянием. Его сознание, утратившее активность, позволяет ему предаться мистическому экстазу, видениям или же в состоянии помрачения поддаться панике или наваждению.

Толпы кажутся влекомыми призрачным потоком, эта истина хорошо известна и настолько глубока, что философы и политические деятели всех времен и народов к ней без конца возвращались. Можно было бы сказать, что эти сумеречные состояния между бодрствованием и сном и есть истинная при-

чина страха, который вызывается толпами, а также очаровывающего воздействия, производимого ими на наблюдателей, пораженных тем, с какой силой могут воздействовать на реальный ход вещей люди, казалось бы утратившие контакт с действительностью. А вот другой факт, не менее поразительный: это состояние является условием, позволяющим индивиду слиться с массой. Чувство тотального одиночества заставляет его стремиться к тому неосознанному существованию, которое даст ему чувство слитности с массой.

Психологи никак не расценили эти фундаментальные и характерные черты толп. Ле Бон же, размышляя о них, пришел к открытию, влияние которого на науку и политику оказывается весьма значительным. Он полагает, что психологические превращения индивида, включенного в группу, во всех отношениях подобны тем, которым он подвергается в гипнозе. Коллективные состояния аналогичны гипнотическим состояниям. Это сопоставление уже звучало в других работах, и прежде всего у Фрейда.

«Загипнотизированная толпа» могла появиться как своего рода модель, уменьшенная в замкнутом пространстве, по отношению к толпе настоящей и действующей под открытым небом. Явления, наблюдаемые в микрокосме больницы, как в лаборатории, воспроизводят происходящее в макрокосме общества. Однако стоит немного остановиться на этих явлениях и посмотреть, как они порождаются. Мы тем самым сразу поймем и природу зрелищного, благодаря которой внушения потрясают воображение, и объяснения им.

Природа гипноза, то, каким образом внушение воздействует на нервную систему, остается нам ма-

лопонятным. Мы знаем, что некоторых людей очень легко усыпить. В этом состоянии определенная часть их сознания подчиняет тело внушениям, исходящим от оператора, обычно врача. Он произносит свои команды очень решительным тоном. Для того, чтобы пациент не почувствовал ни малейшего намека на колебания, что имело бы нежелательный эффект, оператор категорически не должен сам себе противоречить. Оператор энергично отрицает недопомогания, на которые жалуется пациент. Он уверяет его, что можно кое-что сделать, и дает ему команду это совершить.

Любой гипнотический сеанс содержит, таким образом, два аспекта: один — эмоционального свойства, другой — физического воздействия. Первый строится на абсолютном доверии, подчинении гипнотизируемого гипнотизеру. Манипуляция же выражается в строгой направленности взгляда, в восприятии очень ограниченного числа стимулов. Это сенсорная изоляция, которая ограничивает контакт с внешним миром и как следствие способствует погружению субъекта в гипнотическое состояние сна наяву. Пациент, эмоционально зависимый от гипнотизера и видящий свое пространство ощущений и идей как ограниченное им, оказывается погруженным в транс. Он полностью повинует команды, которые ему дают, выполняет требуемые от него действия, произносит слова, которые приказывают произносить, нисколько не осознавая, что он делает или говорит. В руках гипнотизера он становится чем-то вроде автомата, который взмахивает рукой, марширует, кричит безотчетно, не зная, зачем.

Вызывают удивление случаи, когда гипнотизеры, как они сами утверждают, заставляли человека ис-

пытывать ощущение замерзания или жжения. В другом случае человека принуждали выпить чашку уксуса, внушая пациенту, что это бокал шампанского. Еще один принимает метлу за привлекательную женщину и так далее. В ходе публичных демонстраций пациенту внушают, что он превратился в младенца, в молодую женщину, одевающуюся к балу, в дискутирующего оратора и заставляют его действовать соответствующим образом.

\* \* \*

Разнообразие галлюцинаций, затрагивающих все ощущения, и каких угодно иллюзий, действительно огромно и не может не впечатлять. В том, что касается толпы, две из них имеют особую значимость. Первая состоит в полном сосредоточении гипнотизируемого на гипнотизере, его замыкании в рамках группы при абсолютной изоляции от других людей. Введенный в транс, субъект становится слеп и глух ко всему кроме оператора или возможных участников, которых тот ему называет по имени. Другие же могут сколько угодно эмоционально привлекать его внимание — он их не замечает. И напротив, он подчиняется малейшему знаку гипнотизера. Как только тот прикасается к кому-то или просто указывает на него едва заметным жестом, загипнотизированный ему тотчас отвечает. Здесь можно увидеть вероятную аналогию с непосредственной связью, которая устанавливается между вождем и каждым из членов толпы, — производимое влияние совершенно сопоставимо.

Вторая иллюзия задается в процессе акта внушения приказом, а реализовывать ее субъект начи-

нает позднее, после выхода из транса, в состоянии бодрствования. Гипнотизер покидает его, загипнотизированный ничего не помнит о полученном приказании, но, тем не менее, не может воспротивиться его исполнению. Он в этом случае забывает все обстоятельства внушения, полученного в недавнем сеансе. Он считает себя самого источником этого действия и часто, исполняя его, придумывает оправдания, чтобы как-то объяснить происходящее свидетелям. То есть он действует согласно своему естественному чувству свободы и непосредственности, как если бы он вовсе и не подчинялся указаниям, внедренным в его сознание.

Такие отсроченные эффекты явно напоминают разные формы воздействия, наблюдаемые в обществе. Разве мы не встречаем на каждом шагу людей, безотчетно и не желая того воспроизводящих много времени спустя жесты или слова, которые они видели или слышали, считающих своими идеи, которые кто-то, не спрашивая их, самым категоричным образом вдолбил им в голову. Эти эффекты, кроме всего прочего, доказывают, какое огромное множество мыслей и действий, кажущихся намеренными, осознанными и обусловленными внутренним убеждением, в действительности представляют собой автоматическое исполнение внешнего приказа.

Излишне было бы обсуждать дальше результаты, полученные гипнотизерами. Нам лишь остается кратко рассмотреть психические изменения, обнаруженные благодаря гипнотическому состоянию, и их возможную причину, согласно этим авторам. Предполагается, что это идея, внедренная, взращенная и усиленная в сознании субъекта: идея, что он Наполеон, что он здоров, что ему должно быть холодно и т.п.

Идея прокладывает дорогу к человеку, более или менее глубоко усыпленному. Она навязывает ему новую манеру видения самого себя и предметов, скорое и прямое суждение, сопровождаемое внутренним убеждением. Возникает вопрос: кто совершает это чудо, придает идее необходимую силу, чтобы его сотворить? Обычные идеи не достигают этого. А гипнотическая идея черпает свою силу в образах, которые она с собой приносит, о которых напоминает, то есть в своем конкретном, а не абстрактном содержании. Благодаря серии превращений она приводит в действие совокупность образов нашего сознания. Эти образы, в свою очередь, вызывают и запускают весь ряд элементарных ощущений. Таким образом будет совершаться упорядоченное превращение обобщенного понятия в непосредственное восприятие, переход от концептуального мышления к мышлению образному.

Эта гипотеза подкрепляется тем фактом, что загипнотизированные разговаривают сами с собой, находятся во власти зрительных иллюзий, как в сневидении, и испытывают яркие ощущения в связи с внушенными идеями. Кроме того, и это многое объяснило бы, память усыпленного человека чрезвычайно богата и обширна, много богаче и обширней, чем память того же человека в состоянии бодрствования. К огромному удивлению всех и к своему в первую очередь, человек в состоянии транса вспоминает места, фразы, песни, которые он в обычном состоянии не помнит. Гипноз высвобождает воспоминания, активизирует память до такой степени, что «порой заставляет думать о загадочной просветленности испытуемых». Однако погружение в сон, тягостный или легкий, никогда не отменяет сознательной жизни. Просто она уступает место другому

состоянию и расщепляет его. На заднем плане продолжают существовать мысли и они сохраняют возможность истолковывать внушения, хотя и не смогли бы остановить их действия и воспрепятствовать их ментальным или физическим последствиям.

Вот как резюмирует Бине<sup>1</sup> эволюцию, которая разворачивается в мозге загипнотизированного: «В каждом образе, представленном в мозгу, в зачаточном состоянии имеется галлюцинаторный элемент, который лишь ждет своего развития. Именно этот элемент развивается в процессе гипноза, когда достаточно бывает назвать испытуемому какой-нибудь предмет, просто сказать ему «вот птица» для того, чтобы внушаемый словом экспериментатора образ тотчас стал галлюцинацией. Итак, между идеей предмета и галлюцинаторным образом этого предмета разница только в степени».

В этой декларации много свежести мысли и слишком много ясности для этого достаточно непонятного явления, по поводу которого у нас все меньше и меньше уверенности. Однако я должен был его представить, ведь мы только что видели, как много гипноз может подсказать любой психологии толп. Он придает ей авторитет науки, как экспериментальной, так и клинической, не высказывая ничего, что не было бы надлежащим образом подтверждено. И особенно то, что в рассудке толпы, как и в рассудке загипнотизированного, «любая идея становится действием, любой вызванный образ становится для них реальностью, они уже не отличают реального мира от мира внушенного и воображаемого».

---

<sup>1</sup> Бине Альфред (1857—1911) — французский психолог. Занимался проблемами социальной и педагогической психологии. — Примеч. ред.

\* \* \*

В связи с этим кажется полезным отметить три элемента, которые останутся почти неизменными в психологии толп: прежде всего, сила идеи, от которой все и зависит, затем немедленный переход от образа к действию и, наконец, смешение ощущаемой реальности и реальности внушенной. Что же из всего этого следует? В гипнозе врачи выходят за пределы индивидуального сознания, переступают границы ясного рассудка и чувств, чтобы достичь пространства бессознательной психики. Там, как излучение, исходящее из какого-то источника, воздействие подспудной памяти ощущается очень живо. Это как если бы, однажды погрузившись в сон, человек, вырванный из своего привычного мира другим миром, пробудился бы в нем.

Однако аналогия между группой загипнотизированных и группой бодрствующих людей не кажется достаточной для того, чтобы переносить явление с одной на другую. Это условие способствующее, но, тем не менее, не решающее. Поскольку у вас немедленно возникнут сомнения: гипнотизер может воздействовать взглядом, а не словами. Кроме того, гипноз, по-видимому, возникает вследствие особого патологического состояния — внушаемости больных истерией, что относится к компетенции психиатров, — и в норме невозможно. Если гипноз представляет собой так называемое «искусственное безумие», «искусственную истерию», ошибочно было бы пытаться обнаружить его у толп, особенно после того, как мы установили, что они не являются ни «истерическими», ни «безумными».

Как же можно переходить из одной сферы в другую, если одна находится в ведении медицины, а другая — политики? Тем более что в толпах «ненормальные» субъекты составляют явное меньшинство, а группы, в которые мы включаемся в большинстве своем, состоят из людей нормальных.

Льебо<sup>1</sup> и Бернгейм<sup>2</sup> справедливо отвели этот род сомнений. На основе своей клинической практики они утверждают, что гипноз вызывается посредством словесного внушения какой-то идеи, то есть чисто психологическим путем и что его успешность не зависит ни от чего другого. Но каждый ли человек восприимчив к внушению? Или же необходимо, чтобы субъект имел болезненную предрасположенность к этому? Иначе говоря, для того, чтобы быть внушаемым, должен ли человек быть невропатом или истериком? Ответ на этот вопрос категорически отрицательный. Все явления, наблюдаемые при гипнотическом состоянии, являются результатом психической предрасположенности к внушению, которая в некоторой степени есть у всех нас. Внушаемость присутствует и в состоянии бодрствования, но мы не отдаем себе в ней отчета, поскольку она нейтрализуется критикой и рассудком. В состоянии вызванного сна она легко проявляется: «Воображение царит властно, впечатления, поступающие в сенсорную систему, бесконтрольно принимаются и трансформируются мозгом в действия, ощущения, движения, образы».

<sup>1</sup> Льебо Огюст (1823—1904) — французский врач, широко использовавший гипноз в лечении своих пациентов. — Примеч. ред.

<sup>2</sup> Бернгейм Ипполит (1837—1919) — французский врач. В 1882 г. присутствовал при гипнотических экспериментах О. Льебо и начал сотрудничать с ним в изучении и применении гипноза и внушения в терапевтических целях. Первый использовал в клинических условиях терапию сном. — Примеч. ред.

\* \* \*

Вот что снимает последние преграды и позволяет перейти от одной сферы к другой, от индивидуально-гипноза к гипнозу в массе. Человек тогда кажется психическим автоматом, действующим под влиянием внешнего импульса. Он легко исполняет все, что ему приказано делать, воспроизводит хабитус, запечатленный в его памяти, сам того не осознавая. Внушение описывает и вполне объясняет, чем человек в группе отличается от человека, когда он один, — точно тем же, чем человек в состоянии гипнотического сна отличается от человека в состоянии бодрствования. Наблюдая действия толпы, мы наблюдаем людей, находящихся в состоянии своего рода опьянения. Как любая другая интоксикация, словесная или химическая, она выражается в переходе из состояния ясного сознания в состояние грез. Это сумеречное состояние, когда многие реакции тела и рассудка оказываются преображенными.

По мнению Ле Бона, это научный факт, что человек, погруженный в такое состояние, «подчиняется любым внушениям оператора, который заставил его утратить ее (свою сознательную личность) и совершать действия, идущие вразрез с его характером и привычками. Но вот внимательные наблюдения, похоже, обнаруживают, что человек, на какое-то время погруженный в недра активной толпы, вскоре впадает — вследствие исходящих от нее веяний или по совсем другой, еще неизвестной причине — в особое состояние, очень сходное с гипнотическим состоянием во власти своего гипнотизера».



Итак, под действием этого магнетизма люди утрачивают сознание и волю. Они становятся сомнамбулами или автоматами — сегодня мы бы сказали роботами! Они подчиняются внушающим воздействиям вождя, который предписывает им, о чем думать, с чем считаться и как в связи с этим действовать. Благодаря заражению они разве что механически копируют друг друга.

Из этого получается что-то вроде социального автомата, неспособного творить или рассуждать, но могущего предаваться любым неблагоприятным занятиям, которым человек воспротивился бы наяву. Толпы и видятся нам столь угрожающими, так как кажется, что они живут в другом мире. Они как будто пребывают в плену видений, которые их терзают.

Результатом этого подхода является замена фигуры оратора фигурой гипнотизера, замещение красноречия внушением, а искусства парламентских дебатов — пропагандой. Вместо того чтобы убеждать массы, их возбуждают театром, их держат в узде с помощью организации и завоевывают средствами прессы или радио. По правде говоря, пропаганда, подводящая итог этому изменению порядка вещей, перестает быть средством коммуникации, усиленным приемом риторики. Она становится технологией, позволяющей нечто внушать людям и гипнотизировать их в массовом масштабе. Иначе говоря, средством серийно производить массы, так же как промышленность серийно производит автомобили или пушки. Становится понятным, почему без нее нельзя обойтись, и почему она так чудовищно действенна.

\* \* \*

Отметим особенно значительные идеи Ле Бона, в частности следующие:

1. Толпа в психологическом смысле является человеческой совокупностью, обладающей психической общностью, а не скоплением людей, собранных в одном месте.

2. Индивид действует, как и масса, но первый — сознательно, а вторая — неосознанно. Поскольку сознание индивидуально, а бессознательное — коллективно.

3. Толпы консервативны, несмотря на их революционный образ действий. Они всегда кончают восстановлением того, что они низвергали, так как для них, как и для всех, находящихся в состоянии гипноза, прошлое гораздо более значимо, чем настоящее.

4. Массы, каковы бы ни были их культура, доктрина или социальное положение, нуждаются в поддержке вождя. Он не убеждает их с помощью доводов рассудка, не добивается подчинения силой. Он пленяет их как гипнотизер своим авторитетом.

5. Пропаганда (или коммуникация) имеет иррациональную основу, коллективные убеждения и инструмент — внушение на небольшом расстоянии или на отдалении. Большая часть наших действий является следствием убеждений. Критический ум, отсутствие убежденности и страсти являются двумя препятствиями к действию. Внушение может их преодолеть, именно поэтому пропаганда, адресованная массам должна использовать язык аллегорий — энергичный и образный, с простыми и повелительными формулировками.

6. Политика, целью которой является управление массами (партией, классом, нацией), по необходимости является политикой, не чуждой фантазии. Она должна опираться на какую-то высшую идею (революции, родины), даже своего рода идею-фикс, которую внедряют и возвращают в сознании каждого человека-массы, пока не внушат ее. Впоследствии она превращается в коллективные образы и действия.

Эти важнейшие идеи выражают определенное представление о человеческой природе, скрытое, пока мы в одиночестве, и заявляющее о себе, когда мы собираемся вместе.

### **Торжество бессознательного в толпе**

Толпы пребывают, надо полагать, в состоянии, близком к гипнотическому, под воздействием того странного дурмана, который в каждом вызывает смутное желание влиться в общую массу. Он освобождает человека от груза одиночества. Он его переносит в мир коллективного упоения и торжествующих инстинктов, где он испытывает эйфорическое чувство всемогущества. «Эта несказанная оргия, эта святая проституция души», — говорил Бодлер о тех, кто попадает в такую «массовую баню».

Итак, что же происходит, когда каждый приглушает то индивидуальное, что у него есть, для того, чтобы до крайней степени взбудоражить коллективную часть своего «Я»? Для того чтобы это объяснить, нужно понять, как, согласно психологии толп, функционирует психический аппарат. Он делится на две части: сознательную и бессознательную. Созна-

тельная часть имеется у каждого человека, она формируется в течение жизни и по-разному представлена у различных людей. Одни люди отличаются более богатой жизнью сознания, другие менее. Напротив, бессознательная часть является врожденной, она общая для всех и равномерно представлена в обществе. Первая очень тонкая и временная, она представляет собой лишь частичку второй, которая массивна и долговременно. Если бессознательная жизнь имеет на нас такое колоссальное влияние, если она без нашего ведома господствует над нами, это потому, что такой, отягощенной грузом инстинктов, желаний, верований, мы унаследовали ее от наших прародителей.

Посмотрим и теперь, что происходит в группе, где люди находятся в состоянии взаимного внушающего воздействия. Они стремятся подчеркивать то, что их сближает, то, что было у них общего до того, как они встретились. Каждый из них сводит к минимуму свое личностное начало, которое могло бы привести к риску противостояния. Таким образом, в ходе контактов и взаимодействий, они все больше и больше стирают, сглаживают ту сознательную часть, которая их разделяет и делает непохожими друг на друга. А часть, в которой они сходятся, поскольку она общая для них, завоевывает территорию. Точно так же люди, которые долгое время живут вместе, опираются на то, что их сближает, и отсеивают то, что их разделяет.

Психическое единство толп, которое является результатом этого, не имеет иного интеллектуального и эмоционального содержания, как именно это бессознательное, вошедшее в дух и тело людей. А именно, верования, унаследованные традиции,

обыкновенные желания, и так далее. Но предоставим лучше Ле Бону самому подвести итог этому разложению сознания и личностей: «Итак, утрата сознательной личности, господство неосознанной личности, ориентация, посредством заражения, чувств и идей в одном направлении, тенденция немедленно превращать внушенные идеи в действия — таковы основные черты индивида в толпе. Это уже не он сам, а автомат, управлять которым его собственная воля бессильна».

Итак, человек выходит за рамки человеческого состояния только через единственную дверь, и она открывается в бессознательное. Масса влечет к себе, как магнит, притягивающий железные опилки. Она удерживает благодаря своей действенной иррациональной энергии. В нее включены также и рациональные силы, и это соотношение меняется, смотря по обстоятельствам. Но успешность растворения индивида в массе предполагает, чтобы все было приведено в действие для высвобождения иррациональных тенденций. Эта идея психологии масс сразу получила огромный резонанс. Целому поколению она внушила иные способы мобилизации людей и управления ими. А в науке она стала следующим постулатом: все, что является коллективным — неосознанно и все, что бессознательно — является коллективным. Первая часть, как мы уже убедились, принадлежит Ле Бону, и он извлек из нее всевозможные практические следствия. Второй частью мы обязаны Фрейду. Он формулирует ее как самоочевидный ответ на риторический вопрос: «Не является ли содержание бессознательного в любом случае коллективным? Не составляет ли оно общее достояние человечества?»

Необходимо постоянно иметь в виду этот постулат и проникнуться им. Это ключ к психической

жизни толп в такой же мере, как постулат сохранения энергии является ключом к природе. Нас, разумеется, интересуют все грани этой жизни. Но понимать, как мыслят толпы, как мыслит человек-масса, представляет особый интерес. Для того, чтобы сделать это, нам нужно также допустить, как мы уже это делали раньше, что толпа чувствует и мыслит иначе, чем отдельный индивид, подобно тому, как человек в состоянии гипноза мыслит иначе, чем в состоянии бодрствования. Мы с вами так наглядно наблюдали это различие, что едва ли нужно убеждать в его существовании.

\* \* \*

Итак, как мыслит толпа? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно предположить существование иных законов, чем законы разума. Поскольку разум, свойственный отдельному человеку, не обладает возможностью поддерживать активность и побуждать верить во что-то. Здесь есть предел, и Паскаль предупреждал нас об этом: «Так что не нужно заблуждаться насчет самих себя: мы одновременно автоматы и разумные существа: а отсюда следует, что убеждение формируется не на основе доказательства. Как мало вещей доказанных. Доводы действуют только на рассудок. Обычай делает доводы наиболее сильными и наиболее резкими; он пробуждает автоматизм, который увлекает за собой разум, не замечаящий этого».

Психология толп, в свою очередь, обнаружила контраст (это неизбежно) между мышлением индивидов, сознательным от начала до конца и мышлением толп, в большинстве своем бессознательным,

которое «увлекает за собой рассудок, не замечающий этого». В обыденной жизни себя обнаруживает именно первое. У человека в состоянии гипноза — второе. С помощью этой аналогии Ле Бон переносит наблюдения, сделанные над людьми в состоянии гипноза, на толпы.

Я рассмотрю сейчас, один за другим, различные аспекты обоих типов мышления, легко узнаваемые и иллюстрируемые по контрасту. Мышление индивидов было бы мышлением критическим, то есть логическим, использующим идеи-понятия, в большинстве своем абстрактные. Оно описывает предметы и объясняет события с помощью теорий, соединяющих понятия в цепочку суждений, которые мы можем обсуждать и уточнять в свете наблюдений и известных фактов. Это потому, что мы чувствительны к противоречиям между ними, к расхождению между нашими суждениями и реальностью. Устраняя противоречия, мы приходим к логичному видению фактов, которые мы изучаем, и методов, которые мы используем. Кроме всего прочего, это мышление независимо от времени. Последовательный ход идей определяется только логическими законами. Он не зависит ни от наших воспоминаний о прошлом, ни от заключений, к которым мы хотим прийти. Оно целиком обращено к реальности, которая единственная в конце концов принимается в расчет. Именно поэтому мы ставим его под сомнение, мы обсуждаем его пункт за пунктом, иногда в полемической форме. Доказательства мы перепроверяем повторными опытами. Опыт все решает и выносит свой вердикт. В конечном счете, ничего не принимается без доказательств. Итак, это мышление объективное.

Напротив, мышление толпы было бы автоматическим. Над ним господствуют стереотипные ассоциации, клише, глубоко сидящие в памяти. Она пользуется конкретными образами. Ле Бон беспрестанно повторяет в разных вариантах, что массы неспособны к абстрактным суждениям. Бесполезно, следовательно, обращаться к ним, взывая к качеству, которым они не обладают. В одной из своих тирад, которые у писателей играют ту же роль, что у адвокатов эффектные жесты, он пишет: «Последовательность строгих суждений была бы абсолютно непонятна толпам, и именно поэтому допустимо говорить, что они мало рассуждают или рассуждают неверно и что они не поддаются воздействию рассудка. Нас порой при чтении удивляет неубедительность некоторых речей, оказавших колоссальное влияние на их поведение; но мы забываем, что они произносились для того, чтобы увлечь массы, а не для прочтения их философами».

Не кажется ли, что мы слушаем адвоката, доказывающего в суде недееспособность своего подзащитного, адресуя намек суду, состоящему из людей здравомыслящих, «философов»?

Если эти противоречивые речи произвели такое впечатление, значит, нужно искать причину этого в способности вызывать образы, преобразовывать звуки в наглядные знаки, слова — в воспоминания, а имена — в персонажи. В общем, толпы мыслят мир не таким, каков он есть, а таким, каким их заставляют его видеть, таким, каким они его себе представляют. Они никак не влияют на действительность и удовлетворяются ее видимостью. Не то чтобы они ее избегали, нет, они просто не понимают разницы между видимостью и действительностью. Истина безнадежно ускользает от них. Они подме-

няют реальность, которую переносят с большим трудом, представлением; нетерпимое настоящее — прошлым. «В истории, — согласно Ле Бону, — видимость всегда играла куда более важную роль, чем действительность. Нереальное здесь господствует над реальным». Мышление толп — это всегда мышление уже виденного и уже известного. Вот почему, когда мы попадаем, как рыбы, в сеть толпы и начинаем грезить наяву, идеи проникают в наше сознание в виде конкретных схем, клише и других представлений.

Никто не взял на себя труда подтвердить эти резкие утверждения. Они, конечно, не могут быть абсолютно ложными постольку, поскольку массовая коммуникация или политическая пропаганда ежедневно с успехом используют их. Они опираются на солидную традицию. Еще святой Фома Аквинский утверждал: *Nihil potest homo intelligere sine phantasmata*, человек ничего не может понять без образов (как и без иллюзий). Это повторяет и Джордано Бруно: «Мыслить — значит размышлять в образах». Исследования гипноза, похоже, свидетельствуют о том, что внушенные идеи связываются с действительными образами прежде, чем выразиться в действиях. Однако подборка даже вполне вероятных предположений еще не является доказательством, я легко с этим соглашусь.

\* \* \*

Эта оговорка не должна нам помешать идти дальше. Итак, проанализируем, как фабрикуется автоматическая мысль и как «рассуждают» посредством образов. Надо сказать, что до сих пор этот

предмет остается очень слабо изученным и суждения, которые я выдвину, будут крайне неполными. Тем не менее мы кое-что знаем, чтобы говорить о нем. Можно сразу выделить два процесса: наложение и проекцию.

Наложение соединяет случайные идеи-образы, которые сплетаются одна с другой на основе внешних признаков. Однажды наложенные друг на друга, они приобретают видимость рассуждения, которое быстро перескакивает от посылки к выводу, от части к целому, не проходя промежуточных этапов.

Проекция выражает бессилие толп в разграничении реальности и представления о ней, в различении желаемого и действительного. Из-за неспособности это разводить, толпа, не осознавая того, проецирует вовне свои внутренние идеи-образы. Она рассматривает как внешнюю данность событие, являющееся не более чем продуктом ее желаний и фантазии. Когда речь идет о толпах, «которые немного напоминают спящего», для того, чтобы поразить их воображение, нужно преувеличивать, используя утрирование в аргументации, эффектные примеры, броские обобщения. По поговорке: «Что чрезмерно, то ложно». Для толп же было бы верно обратное: «Что чрезмерно — то верно», так, по крайней мере, случается.

«Все, что поражает, — утверждает Ле Бон, — является в форме захватывающего и цельного образа, свободного от неизбежной интерпретации или не имеющего иного сопровождения кроме нескольких удивительных фактов: великая победа, великое чудо, великое преступление, великая надежда. Следует представлять вещи целиком, никогда не вдаваясь в их происхождение. Сотня мелких преступлений или сотня маленьких происшествий несколько

не действуют на воображение толп, в то время как одно-единственное значительное преступление, одна катастрофа глубоко поражают их даже с исходными куда менее разрушительными, чем эта сотня мелких происшествий вместе взятых».

Надо полагать, что идея-образ содержит в себе заряд воспоминаний не меньший, чем бомба взрывной мощности. Она пробивает фильтры памяти и выносит на поверхность то, что обычно подавлено и спрятано.

Повторяемость обладает особым качеством превращать идею-понятие в идею-действие. Абстрактное содержание первой переходит в конкретное содержание второй. Для того чтобы стать общедоступными, доктрины и теории должны отказаться от того, что составляет их отличительную особенность: цепочки рассуждений, строгости языка. Иначе не может быть. У толп нет ни времени, ни необходимых условий, чтобы изучать все аргументы, взвешивать все за и против, уточнять все факты.

Кроме того, всегда будучи, как мы видели, разнородными, они редко опираются на познания. Парадоксально, и на это стоит обратить внимание, что сами места, где их собирают или где они устраивают манифестации — митинги, съезды, собрания, шествия обычно проходят на городских площадях, стадионах, на улицах — то есть те места, где их лидеры якобы желают проинформировать и проинструктировать их, совершенно противоречат своему назначению. В этих местах есть все, чтобы производить внушающее воздействие, и слишком мало для рассудочного. Толпы могут здесь слушать выразителей их чаяний, видеть их и друг друга, возмущаться, восторгаться и так далее — все, что угодно, только не

размышлять, поскольку они низведены до уровня элементарного мышления и простейших чувств. Для того чтобы прижиться на этом уровне, идеи обязательно должны упроститься, факты или их содержательная наполненность — сгуститься, приняв образную форму.

Идеи, конечно же, упрощаются и, будучи повторяемыми, становятся доступными для всех, совершенно так же, как автомобили и станки, воспроизведенные в тысячах экземпляров, становятся более ординарными и дешевыми. Их может использовать кто угодно, тогда как поначалу был необходим специалист-инструктор или механик. Таким образом, сведенные к формуле, они захватывают воображение. Кто знает формулу, тот, кажется, владеет ключом к пониманию и решению самых сложных проблем наиболее простыми средствами. Идеи, сведенные к нескольким элементарным предложениям, часто и долго повторяемые, воздействуют на глубинные мотивы нашего поведения и автоматически его запускают. Именно такова функция лозунгов, призывов, выраженных в наиболее краткой форме.

Конечно, здесь существует нечто большее, чем аналогия, этого нельзя не признать, между этим автоматическим мышлением — с его нечувствительностью к противоречию, жизненностью и повторяемостью — и символическим мышлением. Второе свойственно нашим мечтаниям, которым мы предаемся, в одиночестве засыпая в своей постели, а первое свойственно видениям наяву, которым предается масса в состоянии внушения. Здесь и там сон размывает сознание и рассудок. Если выразиться категоричнее, толпы существуют автоматически. Они восприимчивы к тому, что поражает их память, они реагиру-

ют на конкретные аспекты абстрактной идеи. Они предпочитают получить простой, часто повторяющийся ответ на сложный вопрос, ответ, как бы разрывающий гордиев узел.

Итак, в идеале им нужно преподнести решение еще до того, как они взяли на себя труд выслушать проблему. Короче говоря, логика толпы начинается там, где логика индивида заканчивается.

### **Коммуникации в массовом обществе**

Коммуникация — это в высшей степени социальный процесс. Измените ее форму, ее средства, она тут же изменит природу групп и форму власти, этому нас учит история. Было бы ошибочным рассматривать коммуникацию как простой инструмент в руках людей, стремящихся овладеть толпами. На самом же деле это она навязывает им свои правила, с которыми они обязаны считаться. Я только укажу, как пример, на глубокую трансформацию политической и культурной жизни под влиянием в первую очередь радио, а затем телевидения. В масштабе одного поколения стиль и темп речей, соперничество словесного и образного времени полностью видоизменились.

Тард<sup>1</sup> это предполагал. Каждому типу связи, говорит он, соответствует некоторый тип социально-

---

<sup>1</sup> Тард Габриель (1843—1904) — французский психолог и социолог, один из основателей психологического направления в социологии. Различал психологию индивида и психологию толпы, где человеческая индивидуальность подавляется. Групповое поведение Тард трактовал как гипнотизацию множества людей, основанную на имитации, а само это поведение как одну из форм сомнамбулизма. — Примеч. ред.

го сообщества: традиционной коммуникации из уст в уста — толпа; современной коммуникации, берущей свое начало с газеты, — публика. Каждой соответствует особый тип лидера. Пресса породила свой собственный — публициста.

Мне, быть может, возразят, что речь идет о частном вопросе. Действительно, здесь ничего не говорится об экономических и социальных условиях этих отношений. Все это в каком-то смысле слишком легковесно для того, кто хочет быть исчерпывающим, и нас бы это не могло удовлетворить. С другой стороны, тема ясна и не требуется много слов, чтобы обозначить ее: развитие средств коммуникации определяет развитие групп и их способ коллективного внушения.

С момента своего появления пресса, а сегодня мы можем добавить к ней радио и особенно телевидение, уводит людей от общественной жизни к частной. Она прогоняет их из открытых мест, кафе, театров и т.д. в закрытые помещения домов. Она разгоняет собрания частного характера, клубы, кружки, салоны и оставляет существовать только пыль изолированных людей, готовых раствориться в массе, обрабатывающей их на свой манер. Только затем пресса объединяет их вокруг себя и по своему подобию. Сделав невозможными личные и спорные случаи взаимодействия, она заменяет их спектаклем фиктивных полемик и иллюзией единства мнений.

«Если бы гипотетически, — принимается мечтать Тард, — все газеты были бы упразднены вместе с их обычной публикой, разве население не стало бы в гораздо большей степени, нежели теперь, собираться в многочисленные и тесные аудитории вокруг профессорских кафедр, даже вокруг предсказателей,

заполнять общественные места, кафе, клубы, салоны, читальные залы, не считая театров, и вести себя повсюду более шумно?».

Это охлаждение к общественным местам нам очень хорошо знакомо. Когда проезжаешь сегодня города и деревни, то видишь, что скамейки перед домами пусты, кафе не заполнены, площади безлюдны, все люди сидят по домам, в определенный час прикованные к телевизору. Множество антенн, выросших на крышах домов, является наиболее красноречивым знаком этих перемен. Каждый знает, как трудно оторвать людей от телевизора, чтобы заставить принять участие в политическом собрании, присутствовать на религиозной церемонии или местной демонстрации.

\* \* \*

Естественная история коммуникаций пока еще не написана. Их сравнительное изучение остается желательным проектом, который мирно дремлет в папках науки. Мы, однако, знаем о них достаточно, чтобы выделить их особенности в сеть наблюдений, которые я только что подытожил. Они нас убеждают в том, что психология толп, основанная на трудах Тарда, сразу улавливает значение коммуникаций, называемых массовыми. Их основные черты проявляются с момента зарождения прессы.

Трудно говорить о законах в данном случае, настолько это слово опошлено и опасно. Будем иметь в виду все же три тенденции, которые непрерывно подтверждаются. Первая касается радикального изменения роли, присущей разговору и прессе — добавим еще радио, телевидение, короче, медиа, — в

создании общественного мнения. До массового общества дискуссионные кружки, общение человека с человеком представляли собой решающий фактор. Начиная с этого момента, идеи и чувства циркулируют и проникают понемногу в круги все более широкие. Наконец, книга и газета передают их дальше и быстрее так же, как дальше и быстрее перевозят пассажиров поезд и самолет.

С наступлением массового общества пресса становится первейшей основой мнений, которые распространяются мгновенно и без посредников во все уголки страны, даже по всему миру. Отчасти заменив разговор, она в какой-то степени господствует над ним. Пресса не непосредственно создает свою публику и влияет на нее, а именно посредством бесед, которые она стимулирует и порабощает, чтобы сделать их резонаторами. Вот как об этом говорит Тард: «Достаточно одного пера, чтобы привести в движение миллионы языков».

Таким образом, в действии массовой коммуникации можно было бы указать два этапа. Один идет от прессы к узким кружкам, к простейшим группам «болтунов». Другой идет изнутри этих групп, где каждый находится под внушением, влиянием других. Искомым эффектом является изменение мнений и поведения людей, их голосования или их установки по отношению к какой-то партии, например.

«Таким, образом, в конечном счете сами действия власти, перемолотые прессой, пережеванные в разговорах, в значительной степени способствуют трансформации власти».

Это двухэтапное видение действия коммуникации принято большинством специалистов после полувекового периода исследований. Масс-медиа как



таковые неэффективны на уровне отдельного человека. Они не изменяют ни его мнений, ни его установок. Но, проникая в первичные группы соседей, семьи, друзей и т.д. посредством личных обсуждений, они окончательно воздействуют на него и меняют его. Короче говоря, кампания в прессе, на радио или телевидении, которая не ретранслирована через прямое воздействие из двери в дверь, из уст в уста, имеет мало шансов оказать значительное влияние: «Кафе, клубы, салоны, лавки, любые места, где беседуют, — вот настоящие основания власти», — пишет Тард.

Нет необходимости разделять его видение общества или его веру в могущество разговора, чтобы признать, что на некотором уровне эти наблюдения не лишены здравого смысла и проверены опытом.

Обратимся ко второй тенденции: преобладание средств коммуникации постоянно заставляет толпу переходить из собранного состояния в распыленное. Оно ослабляет контакты между ее членами, изолирует их и отдает в распоряжение тем, кто пытается на нее влиять. Существует определенное чередование тенденций ассоциации и диссоциации, производимое техническими средствами, влекущее за собой психологические и социальные последствия. Поначалу разговор объединяет небольшое число собеседников в определенном пространстве, где они видят и слышат друг друга. Затем пресса удаляет их друг от друга и превращает в разрозненных читателей. Кино собирает различных людей в одном месте, где производится непосредственное заражение мыслями и чувствами. Телевидение снова их распыляет, запирает по домам, приклеивает к маленькому экрану, и даже непосредственный контакт в семье становится ограниченным.

Итак, реальное общение между близкими чередуется с чисто идеальным общением, которому соответствует абстрактное группообразование. Толпа первого уровня превращается в толпу второго уровня, влияние которой на ее членов, становясь все более и более широким, не снижает при этом своей эффективности.

Наконец, третья тенденция — поляризация коммуникаций в каждом обществе. Утверждают ошибочно, но не без внешнего правдоподобия, что их развитие осуществляется в сторону большей демократизации и более массового участия публики. Но, когда их изучают более детально, наблюдают обратное. Вернемся назад. В тысячах бесед с глазу на глаз люди обмениваются мнениями, задают друг другу вопросы и отвечают на них. Они находятся в равном положении, каждый имея одинаковые шансы повлиять на другого. Эти дискуссионные кружки представляют собой в то же время отдельные центры власти и формирования решений в замкнутой среде.

По мере того как масс-медиа развиваются, они вытесняют разговоры и снижают роль этих дискуссионных кружков. Каждый остается один на один со своей газетой, телевизором и в одиночку реагирует на их сообщения и внушающие воздействия. Отношения взаимности между собеседниками превращаются в отношения невзаимности между читателем и его газетой, зрителем и телевидением. Он может смотреть, слушать, но не имеет никакой возможности возразить. Даже учитывая условия, при которых он может использовать право ответить, он всегда в невыгодном положении. Устроить овацию, опровергнуть или поправить, дать реплику

на газетную колонку, на изображение, которое появляется на экране, или голос по радио — все это становится невозможным.

Отныне мы находимся пассивно в их власти. Мы — в их распоряжении, подчиненные власти печатного слова или экранного изображения. Тем более, что изоляция читателя, слушателя или телезрителя не позволяет ему узнать, как много людей разделяет или нет его мнение. Неравенство растет, асимметрия приводит к тому, что «публика иногда реагирует на журналиста, но сам он действует на нее постоянно». Таким образом, за некоторым исключением, общее правило состоит в том, что коммуникации поляризуются. Они действуют все более и более в одном направлении и становятся все менее и менее взаимны.

Эти три тенденции — отход от разговора, переход от собранного состояния к распыленному, поляризация прессы, радио и т.д. — по своей природе сходны в своих причинах и результатах. Они действуют совместно, но не одинаково, распространяя сообщения, приукрашенные, как лекарства, которые зачастую могут успокоить, но, когда нужно, также и взволновать умы. До такой степени, что последние уже не могут без них обходиться.

Потребность в этих средствах коммуникации подобна наркотической зависимости. Не удастся ли им без особых затруднений производить внушение и психологическое господство, которое их властелины и ожидают от них? Я воздержусь от морального суждения в области, где их и так избыток. Я только передаю факт, который так и не был опровергнут с того дня, когда о нем заявили.

## **Мнение, публика, толпа**

Чтобы понять изменения, вызванные в нашем обществе развитием коммуникаций, нужно более детально рассмотреть их последствия. Забегая вперед, отмечу самое существенное: вместо толп, собранных в одном и том же замкнутом пространстве, в одно и то же время, отныне мы имеем дело с рассеянными толпами, то есть с публикой. Очевидно, что средства коммуникации сделали бесполезными собрания людей, которые информировали бы друг друга, подражали бы друг другу. Эти средства проникают в каждый дом, находят там каждого человека, чтобы превратить его в члена некой массы.

Но массы, которой нигде не видно, потому что она повсюду. Миллионы людей, которые спокойно читают свою газету, которые непроизвольно вторят радио, составляют часть нового типа толпы — нематериальной, распыленной, домашней. Речь идет о публике или, скорее, о публиках: читатели, слушатели, телезрители. Оставаясь каждый у себя дома, они существуют все вместе. При всей непохожести они подобны.

По Тарду, именно они более, чем эти колоритные толпы, представляют собой истинную новизну нашей эпохи.

«Нынешний век, — пишет он, — начиная с изобретения книгопечатания, породил совершенно новый тип публики, который не прекращает расти и бесконечное расширение которого является одной из наиболее впечатляющих черт нашей эпохи. Создана психология толп: остается создать психологию публики...».

В этом смысле он добился своего: опросы общественного мнения и анализ средств массовой информации способствуют этому. Теперь следует посмотреть, почему.

\* \* \*

Организация превращает натуральные толпы в толпы искусственные. Коммуникация делает из них публику. Сразу отметим различия. Организация поднимает интеллектуальный уровень людей, находящихся в массе. Коммуникация понижает его, погружая их в толпы на дому.

Это означает вполне ясную мысль: будем ли мы разрознены или сконцентрированы, собраны на стадионе, на площади вокруг вождя или же уединены в нашей квартире, слушая радио, погруженные в чтение газеты, приклеенные к экрану телевизора, знакомясь с последним выступлением президента, наше психологическое состояние одинаково — сопротивление разуму, подчинение страсти, открытость для внушения. Будучи рассеяны, мы, однако, разделяем одну и ту же иллюзию всемогущества, склонны к тем же преувеличенным суждениям и эмоциям, подвержены одним и тем же чувствам ярости и ненависти, как если бы мы все вместе вышли на улицу для массовой манифестации. Одним словом, мы будем оставаться «сомнамбулами», очарованными авторитетом вождей, готовыми им подчиняться и склонными им подражать.

Однако в одном случае мы достигаем этого состояния внушением вблизи, в другом — внушением на расстоянии, когда масс-медиа преодолевают всякие пространственные ограничения. Как если бы

врач, вместо того, чтобы гипнотизировать пациента, которого он видит и слышит, гипнотизировал с помощью писем и фотографий сотни пациентов, которых он не знает и которые не знают его. От коллективного влияния, производимого вождями, поскольку это всегда нужно там, где они находятся, совершается переход к влиянию вождей, которые действуют, как гравитация, там, где их нет. И «конечно, для того, чтобы это внушение на расстоянии, людям, составляющим одну и ту же публику, стало возможным, нужно, чтобы они длительное время имели привычку к интенсивной общественной, городской жизни, внушению вблизи».

Эту функцию выполняет газета. Верстка, расположение и окраска материала — все должно заставить читателя жадно приняться за чтение. Несмотря на внешнее разнообразие и пестроту, нужно, чтобы в ней был некий центр, тема, заголовок, который неизменно привлекает внимание. Это — гвоздь, «все более и более выделяемый, привлекает внимание читателей, заигипнотизированных этим блестящим предметом».

Разница между этими двумя типами внушения объясняет различие между толпами и публиками. В первых имеет место физический контакт, во вторых — чисто психическая связь. Взаимные влияния, которые в физических общностях проистекают от близости тел, звука голоса, возбуждения и воздействия взгляда, в последних возможны благодаря общности чувств и мыслей. Поэтому толпы быстрее действуют и реагируют, подвергаются эмоциям, проявляют чрезмерные энтузиазм или панику. Публика медленнее приходит в движение, труднее включается в героические или жестокие действия, коро-

че говоря, она умереннее. С одной стороны, имеет место сенсорное заражение, а с другой — чисто интеллектуальное, чему способствует этот чисто абстрактный, но, однако, вполне реальный тип объединения людей:

«Но публики, — отмечает Тард, — отличаются от толп тем, что публики, подверженные вере и идее, каков бы ни был их исток, больше соответствуют публикам страсти и действия, тогда как толпы верующие и идеалистические менее сравнимы с толпами страстными и беспокойными».

Короче говоря, толпы соотносятся с публиками, как общественное тело с общественным духом. Тогда возникает вопрос: как люди, которые не видят и не соприкасаются друг с другом, не воздействуют один на другого, могут быть связаны? Какая связь устанавливается между разбросанными на огромной территории людьми, которые находятся у себя дома, читая газету, слушая радио? Как раз они и составляют публику, они внушаемы, поскольку каждый из них убежден, что в тот же самый момент он разделяет мысль, желание с огромным числом ему подобных. Разве не известно, что первое, на что смотрит читатель большой ежедневной газеты, разворачивая ее, — это тираж? На читателя влияет мысль о чужом взгляде на него, субъективное впечатление, что он является объектом внимания людей, очень удаленных от него: «Достаточно, чтобы он знал об этом, даже не видя этих людей, чтобы на него оказывалось давление теми, кто составляет массу, а не только журналистом, общим вдохновителем, который сам невидим и неизвестен и тем более привлекателен».

Наконец, толпы или публики, любые типы группирований в целом созданы и ведомы вождем. Как

только наблюдается объединение людей, которые одновременно воспринимают идею, воодушевляются и направляются к одной цели, можно утверждать, что некий агитатор или предводитель выступает своего рода ферментом и вожаком их деятельности. Поскольку речь идет о толпах, он чаще всего скрыт, невидим, полностью растворен в анонимной массе и сам аноним.

Несомненно, часть идей Тарда стала банальной, но то, что он открыл публику, преуспел в предвидении ее судьбы в век масс, свидетельствует и сегодня о глубоком реализме его подхода.

\* \* \*

Это не все. Тард вписывает одну из самых важных глав в общественные науки, признавая, что основная черта публики — это движение мнений, которое она порождает. Великий немецкий социолог Хабермас пишет, что Тард «был одним из первых, кто осуществил его (анализ общественного мнения) надлежащим образом».

«Мнение, — скажем мы, — это мгновенная и более или менее логичная группа суждений, которые, отвечая на актуальные вопросы, воспроизводятся во множестве экземпляров у людей одной и той же страны, одного времени и одного общества».

Вы вправе спросить: как возможно такое осознание сходства наших суждений? Нет ничего более легкого, ответил бы Тард. Суждение берет свое происхождение у индивида, который его написал или высказал, а затем распространяется мало-помалу на все общество. Таким образом оно становится общим. Общение с помощью слова, а в наши дни осо-

бенно с помощью прессы, производит общественные мнения. В то же время она вас убеждает в том, что вы разделяете их с большинством людей.

Впрочем, развитие средств коммуникации идет параллельно с развитием мнения. Мы его не изобрели, мнение существовало всегда. В клане, в племени, в городе, где все друг друга знали, коллективное суждение, сформированное посредством разговора, в котором участвовал каждый, или в речи ораторов в общественном месте, сохраняло тем не менее личный характер. Оно связывалось с лицом, с голосом, с известным членом группы, и каждый вносил в него свой вклад, как бы минимален он ни был. Именно поэтому такое мнение имело живое лицо и конкретный характер. В течение долгого времени мнение в управлении племенем, городом играло роль комментария, общего голоса античного хора, который подчеркивал вопросами, восклицаниями ужаса или жалости, удивления или возмущения слова и действия протагонистов, причем сами хористы действующими лицами не являлись.

В феодальных государствах, раздробленных и локализованных, где общественная жизнь ограничивается территорией города или местности, мнение существует в форме множества фрагментов мнений, которые не обнаруживают видимой или стабильной связи между собой. Это, так сказать, местнические мнения, укоренившиеся в традиции и касающиеся очень ограниченного числа людей. Бродячие торговцы, подмастерья, скитающиеся по Франции ради совершенствования своего мастерства, солдаты, монахи, студенты и другие странники переносят, разумеется, новости и мнения. Но какое доверие внушают эти мигранты оседлому населению, в какой степени

принимает оно мнения и суждения этих бродяг, многочисленных и странных?

Сначала книга, затем журнал обеспечили недостающую связь и объединили эти фрагменты в единое целое. Эти средства чтения и передачи идей заменили локальный разум общественным. Первичные группы людей, близких и единоклубных между собой, были заменены вторичными группами людей, тесно связанных между собой, но не видящих друг друга и незнакомых между собой.

«Отсюда, — пишет Тард, — различия между ними: в первичных группах голоса *preponderantur* (взвешиваются) скорее, чем *numerantur* (пересчитываются), в то время как во вторичной и гораздо более обширной группе, в которой люди находятся, не видя друг друга, вслепую, голоса могут быть только просчитаны, а не взвешены. Пресса безотчетно действовала в направлении возрастания власти количества и ослабления власти характера, если не ума».

В ходе этой эволюции, приведшей к победе количества, книги, журналы сломали пространственные, временные, классовые барьеры. Писатели и журналисты, действующие как современные всасывающие и нагнетающие насосы, направили все речки и ручейки отдельных мнений в огромный резервуар общественного мнения. Он все более и более расширяется, а вода в нем непрерывно обновляется. Они скромно начинали, как писаки или газетчики, которые выражали локальные мнения парламента, двора, разносили сплетни о пристрастиях власть имущих. Они пришли к тому, что всем заправляют, по собственной воле «задавая большую часть повседневных тем спорам и разговорам». Еще Бальзак сравнивал их власть с властью правителей государств:

«Быть журналистом — значит быть проконсулом в образованной республике. Тот, кто может все сказать, может и все сделать. Это максима Наполеона, и она понятна всем».

Благодаря журналистам мнение продолжало усиливать свое влияние на наши общества вопреки традиции и разуму. Ополчается ли оно на обычаи, нравы, институты, ничто ему не противостоит. Переходит ли оно на личности — разум замирает в нерешительности и теряется. Разве мы не видели в недавнее время, до каких крайностей может дойти кампания, проводимая прессой? Было бы гораздо лучше, если бы, согласно Тарду, она довольствовалась пропагандированием разумных деяний с тем, чтобы превращать их в традицию.

«Сегодняшний разум становился бы чем-то вроде завтрашнего мнения и послезавтрашней традиции».

Такая перспектива, конечно, имеет минимальные шансы. Вместо союза мнений и разума мы наблюдаем соперничество, которое только все более увеличивается. Экстраполируя, мы могли бы представить себе время, когда традиция, побежденная и сломленная, научная мысль, находящаяся под угрозой уничтожения, будут представлять собой не более чем периферию мнения. Тогда класс людей — политиков-журналистов, философов-журналистов, ученых-журналистов — продублирует и заменит в глазах публики класс политиков, философов или ученых и будет царить в политике, философии или науке. Может ли осуществиться такое видение? Для многих людей это уже реальность: власть средств коммуникаций и власть общественного мнения — это одно и то же.

\* \* \*

Мы затронули эволюцию публики и мнения. Не следует ли рассмотреть ее общее значение в массовом обществе? Без всякого сомнения, хотя нужно было бы взяться за это с большой осторожностью. Существует факт: масс-медиа непрерывно изменяют отношения между социальными общностями. Экономические, профессиональные, а также деления, основанные на частных интересах, например рабочих и хозяев, крестьян и коммерсантов, теряют свой традиционный характер. Они трансформируются прессой, которая смягчает их и облачает в форму общественного мнения, выходящего за их пределы. На их месте возникают новые линии раздела в соответствии с «теоретическими идеями, идеальными стремлениями, чувствами, которые явно выделены и навязаны прессой». То есть деления в соответствии с мнениями.

С этого времени человек имеет тенденцию скорее принадлежать к публике, чем к общественному классу или церкви.

«Итак, какова бы ни была природа групп, на которые делится общество, имеют ли они религиозный, экономический или даже национальный характер, публика является в определенной степени их конечным состоянием, так сказать, их общей деноминацией; именно к этой группе, в полном смысле слова психологической, представляющей собой состояния ума в процессе постоянного изменения, все и сводится».

Конечно, интересы не исчезают. Они остаются на заднем плане, в тени. Пресса, между тем, преоб-

ражает их то в теории, то в страсти, которые в большинстве своем могут быть общими. Отметим это: психология толп предвосхищает массивификацию — в форме толп или публик, неважно, каким образом, — наций, общественных классов и т.д. Массивификация означает, что все классовые конфликты превращаются в конфликты массовые, в конфликты страстей и идеологий. Это цель, преследуемая ее классическими построениями: превратить классовую борьбу в борьбу масс, которую можно выиграть психологическими средствами. В их числе фигурируют средства коммуникации, занимающие первое место.

Это все? Нет. Пресса во времена Тарда, а затем радио и телевидение изменяют, согласно тому же принципу, природу политических партий. Рассмотрим только прессу. Она растворяет все, чего касается. Она разрушает традиционные стабильные группы — клубы, корпорации и т.д. — и превращает их в разновидность публик. Она проводит постоянный ток возбуждения и информации. Беспреданно внимание перемещается с одной темы на другую: с забастовки на убийство, с войны на женитьбу короля и т. д.

Чтобы следовать за каскадом событий и творить события в свою очередь, чтобы поддерживать контакт со своими приверженцами, политические партии, малые или большие, должны пройти через этап газеты. Это их ставит в зависимое положение и втягивает в непрерывный процесс переработки их программы и составления публик. Некогда менее активные, но более долговечные, более крепкие, хотя и не такие колоритные, теперь партии создаются и воссоздаются в ускоренном темпе. Парламентская партия, якобинский клуб, например, имели «основ-

ную черту быть сформированными из собраний, где все соприкасаются друг с другом, где все общаются лицом к лицу, где персонально воздействуют один на другого. Эта особенность исчезает, когда партия превращается, сама этого не замечая, в публику. Публика — это огромная рассеянная толпа с неопределенными и постоянно меняющимися контурами, чисто духовная связь в рамках которой определяется внушением на расстоянии, осуществляемым публицистами. То рождается партия, то сливаются несколько партий. Но публика всегда вырисовывается и выделяется за их счет, увеличивает их, преобразовывает их, и она может достигнуть невероятных размеров, на которые собственно партии, партии-толпы, не могли бы претендовать. Другими словами, партии-толпы имеют тенденцию замещаться партиями-публиками».

Хотя это описание и несколько смутно, можно узнать в первых партиях те, которые объединяются вокруг вождя или группы вождей, являющихся борцами, способными мобилизовать массы вокруг себя, а во вторых — партии, вожди и руководящие группы которых могут создавать коалиции между общественными группами в соответствии с требованиями момента.

По Тарду, масс-медиа ослабляют партии борцов и масс. Они благоприятствуют партиям публицистов и публик. Или, что еще хуже, они превращают борцов в приводные ремни медиа, а народные массы в сырье для своей публики. Отсюда нестабильность, «малосовместимая с действием парламентаризма по-английски». Это суждение оказалось справедливым. Даже если оно и опирается на негодные основания, которые абсолютно противоположны нашим.

Заклячая, отметим, что самое большое изменение, привнесенное прессой (а затем и другими открытиями в сфере коммуникации), состоит в создании публик на месте толп, в замене распыленного, но связанного состояния социальности на состояние собранное и квазифизическое. Пресса быстро научила, как массивировать человека. Она сумела найти его, когда он один, дома, на работе, на улице. С тех пор радио и телевидение пошли дальше. Они приносят ему домой, воссоздают специально для него в четырех стенах то, зачем ему раньше нужно было идти в кафе, на площадь, в клуб. Таким образом, они используют гипноз в огромном масштабе. Вследствие этого каждый из нас входит в состав более или менее видимой, но вездесущей массы. В конечном счете человек — это остаток. Он перестает принадлежать к публике только для того, чтобы оказаться в толпе, или же *vice versa*<sup>1</sup>, он выходит из публики только для того, чтобы войти в другую.

### **Big bang сообщества. Мистический пыл харизмы**

Сквозь всю социологию проходит проблема инновации. Любой инновации, но особенно инновации, которая встречает сопротивление укоренившейся традиции и ее ломает. Такой, которую прежний порядок не мог предвидеть и которая была неожиданной. Она подчас слывет иррациональной, поскольку непонятно, как можно логически вывести ее из того, что ей предшествовало и смысл которой можно усмотреть только после развязки.

---

<sup>1</sup> В обратном порядке (лат.) — Примеч. пер.

Вот как говорит об этом Вебер<sup>1</sup>: «Внутренняя психологическая ориентация на подобные регулярные явления (обычай и привычка) содержит в себе самой очень заметные явления торможения, направленные против «инноваций», и каждый может наблюдать этот факт когда угодно в своем повседневном опыте, когда убеждение утверждается тем самым в своем обязательном характере. Приняв во внимание эти соображения, мы должны задаться вопросом, как нечто новое может вообще появиться в этом мире, в своем существе ориентированном на то, что регулярно и эмпирически приемлемо».

Это дилемма, которую не он первым сформулировал. Обычно источник инноваций искали вовне нас, им могли быть среда, технические условия или нехватка ресурсов. Считалось, что они навязываются извне с тем, чтобы изменить наш образ жизни и деятельности. Люди приобретают опыт, приспосабливаются к обстоятельствам и, тем самым, развиваются. Итак, вот основание, которое делает людей, как говорится, песчинками, уносимыми материальными и независимыми силами, определяющими ход вещей.

Однако, в противовес этому типу видения, существуют серьезные аргументы. По крайней мере для Вебера, истинная инновация, последствия которой наиболее глубоки, имеет внутренний источ-

---

<sup>1</sup> Вебер Макс (1864—1920) — немецкий историк и социолог, по философским взглядам близкий к неокантианству. Изучал влияние религиозных идей на хозяйственную и социальную жизнь. В частности, установил определяющее значение протестантской этики на формирование капитализма. Харизматическому правлению с его новаторством и эмоциональной напряженностью Вебер противопоставлял традиционный тип власти, опирающийся на устоявшиеся законы и обычаи. — Примеч. ред.



ник и устремляется во внешний мир. Этот переход помогает нам понять, как она осуществляется несмотря на все то, что ей противостоит и стремится ее задушить. То, что она возможна «извне, — пишет он, — то есть под влиянием изменения внешних условий жизни, это не подлежит сомнению. Но нет гарантии, что эти новые жизненные условия не породят упадка вместо обновления. Тем более, что они не всегда являются необходимыми, более того, они не играют никакой роли во многих случаях очень значительных обновлений. Напротив, открытия этнологии показывают, что наиболее важный источник обновления — это вмешательство людей, которые способны к манипуляциям, воспринимаемым как «необычные» (и часто современной терапией они рассматриваются как патологические, но, впрочем, не всегда) и которые также в состоянии оказывать определенное влияние на других. Здесь мы воздержимся от исследования того, как возникают эти манипуляции, которые, благодаря их «необычному» характеру, кажутся новыми... Эти воздействия, способные преодолеть «лень» привычного, могут облекаться в различные психологические формы».

Что ни говори, это приложимо лишь к той эпохе, когда в силе только отношения, построенные на обычаях или на праве. Это замечание имеет общее значение. В любой инновации активизируется особая исключительная энергия, которая заставляет ее появиться на свет. Без ее содействия невозможно было бы одержать верх над инерцией разума и конформизмом реальности. Для ее даже начального появления необходимы некоторый акт мужества и фанатичное упорство. Несомненно, их нужно считать необычными. Необходим какой-то бросок в убежденности для того, чтобы перейти от груды идей к действию, ко-

торое подчиняется высшему разуму несмотря на все приливы и отливы, на обычную переменчивость общества. Затем, напор, чтобы подчинить большинство, которое может оценивать инновации только как опасные и сомнительные в смысле пользы.

Между тем, дар людей, которые обнаруживают способность к этому, оказывается в меньшей степени природным, чем другие. Он ослабляет долю других дарований, даже обычного инстинкта сохранения жизни. Подобный дар может поддерживаться только изнутри, из субъективности индивидов, вовлеченных в средоточие культуры и неотложных задач, которые они считают себя обязанными успешно решить. Их безумие в глазах других заключается в том, чтобы сделать своим личным делом то, что им не является, и посвятить себя ему безраздельно. Часто инновация садится на мель, поскольку у ее автора или авторов недостает не проницательности ума, а закалки характера, безрассудного и беспощадного.

Вы мне скажете, что здесь речь о романтической концепции, которая обманывается, принимая мыльные пузыри человеческих ощущений за объективную реальность. Я с этим согласен, но я не знаю другой, которая бы действительно могла быть ей противопоставлена. Даже те, кто ее отрицают, на практике усердно ее используют, правда, в довольно умеренном варианте, как вы можете убедиться, открыв любую книгу по истории.

\* \* \*

Позволительно ли мне будет ненадолго остановиться для того, чтобы сделать то, что, я опасаясь, вы сочтете слишком смелым выводом? Когда инновацию рассматривают таким образом, как быющую

ключом из внутреннего источника, это подводит нас к признанию равноправными психического и социального факторов. Дюркгейм<sup>1</sup> вполне ясно осознает это, когда пишет, заключая свою рецензию на одну книгу по социологии, выражающую расхожую точку зрения: «Если подвести итог, социальная эволюция как раз противоположна той, как нам ее описывает автор. Она направляется не извне вовнутрь, а изнутри вовне. Именно нравы создают право и определяют органическую структуру обществ. Изучение социопсихических явлений не является, таким образом, простым придатком социологии — это и есть ее существо. Если война, нашествия, классовая борьба оказывают влияние на развитие обществ, то только при условии воздействия на индивидуальные сознания. Все происходит именно посредством их, и именно от них все исходит. Целое может измениться и в той же мере, только если изменяются части».

Слова, которые использует Дюркгейм, гораздо более впечатляющи, чем те, на которые бы решился даже психолог. Слова Вебера еще более показательны. Он описывает внезапный энергичный акт, вызывающий новое движение, который будет длиться до тех пор, пока не будет остановлен другим. И он привлекает мистические, патологические качества людей, энергия которых трансформирует и опрокиды-

---

<sup>1</sup> Дюркгейм Эмиль (1858—1917) — французский мыслитель, один из создателей социологии как самостоятельной науки. По его мнению, общество возникает при взаимодействии отдельных индивидов, но после своего возникновения оно живет по своим собственным законам, которые влияют на поведение людей. Элементами этой действительности выступают социальные факты, которые существуют независимо от индивидов и доминируют над ними, то есть оказывают на них принудительное воздействие. — Примеч. ред.

вает существующее положение вещей. Первое из этих качеств — чувствовать в себе призвание это делать.

Итак, в фокусе нашего внимания будет инновация. Не так много столетий Европа чтит традицию инновации, что не мешает вспыхивать скандалу каждый раз, когда одна из них появляется на свет. Ее не принимают с легким сердцем ни те, кто ее иницирует, ни те, кто за ними следует. Ницше как знаток пишет: «Составить исключение слывет за акт вины». Он вынуждает вести отдельное существование, полное суровых испытаний, целиком посвященное одной цели, существование людей, которых народы делают своими героями-просветителями, пророками, гениями, законодателями городов, основоположниками искусств. Они владеют ключом к уникальному событию, к абсолютному началу, тому, что связано с их именем: Христос, Ленин, Моисей, Фрейд, Магомет или Робеспьер.

Объяснить, как происходит нечто — христианство, ислам, советская революция и т.д., — значит поднять следующий вопрос: как рождается инновация? Стоит ли предполагать, что она является результатом постепенной эволюции, которая ее готовит и приводит к новой вариации или к разрушению того, что существовало прежде? Это был бы случай мутаций: они дают возможность индивидуальным организмам отбирать некоторые из них, чтобы адаптироваться к среде, и являются, таким образом, отправным пунктом для нового вида. Нужно ли думать, как Огюст Конт, что цивилизация автоматически проходит от религиозной фазы к метафизической, а от нее к фазе научной или позитивной, совсем как человек проходит от детства к возрасту зрелости? Существует ли постепенное и рацио-

нальное осознание общественных и интеллектуальных сил, которые к этому ведут?

Какова бы ни была ценность этих точек зрения, Вебер, похоже, их не разделяет. Чтобы продвигаться быстрее, можно сказать, что он рассматривает инновацию в основных случаях как творение, а не как результат эволюции. Конечно, она не исходит из ничего. Но творчество человека или группы, которая играет роль демиурга, именно оно составляет первопричину. Идея творения является абсолютно центральной для него. Можно видеть обращение к ней всякий раз, когда он размышляет над крушением традиции и новым прорывом в истории.

Во многих отношениях его подход к рассмотрению творения приближается к современному видению big bang, от которого ведет происхождение наша вселенная. Этот подход противостоит концепции эволюции и инновации, вызванной извне, подобно сформировавшейся в прошлом веке точке зрения о мирах, одинаково обращающихся на манер движения часового механизма. Я хочу сказать, что для Вебера инновация обладает чем-то внезапным и огромным, ходом и значением события и стремительного переворота. Ясно, что здесь нам было бы интересно проследить естественнонаучные сведения почти буквально.

Все разворачивается, исходя из начального момента, характеризующегося единичным состоянием материи. До этой единичности не существовало ни времени, ни пространства, ни материи, ни движения. Именно лишь выдвигая гипотезу расширения из ныне известных законов физики, мы можем проследить Вселенную по ту сторону этой «единичности». Например, мы можем предположить вечную

последовательность колеблющихся (осциллирующих) космических циклов, каждый из которых возрождается, подобно легендарной птице Феникс.

В любом случае, как считают некоторые ученые, физические законы на этой фазе еще неприменимы. Ведь это могло бы быть началом, которое было не началом времени, а нынешней эры, предваряемой катастрофой, понимание которой от нас ускользает. Жорж Леметр предполагает, что случился взрыв, от которого нас отделяют миллиарды лет. Материя была сконцентрирована в одну массу колоссальной плотности, своего рода «примитивный атом». Она рассыпалась на то, что стало пространством и конденсировалась в галактики. Из этих скоплений постепенно появились звезды и планетные системы.

Другие исследователи, среди них Дж. Гамов, реконструировали эту теорию. Согласно их взглядам эта масса первоначальной материи содержала протоны, нейтроны и электроны в своего рода непостоянном излучении при чрезвычайно высокой температуре. Тринадцать миллиардов лет тому назад эта сверхмощная, сверхраскаленная и сверхгорячая бомба взорвалась. Таким образом она соединила протоны, нейтроны и электроны, чтобы составить из них одно целое. Она разлетелась, создав трехмерное пространство, которое нам известно. Потребляя энергию ядра, особенно тяжелый водород, затем формирующиеся галактики поглощают ее и снижают температуру. Три миллиарда лет спустя после взрыва, или big bang'a, появляются первые звезды нашей галактики. Проходит еще пять миллионов лет, отвердевает наша земля. Затем все формируется относительно быстро: один миллиард лет спустя на достаточно остывшей почве появляется живая материя.

В целом, за колоссальным и мгновенным взрывом следует медленное сгущение, во время которого термическое излучение превращается в материю галактик, звезд и, наконец, в организмы. То, что произошло вначале, в несколько секунд, в фазе плотного горячего состояния, которое характеризует первоначальную вселенную, повлияло на все последующие явления. Все формы, которые приняли галактики, планетные системы, обязаны своим существованием этим первым событиям, природа которых по прошествии времени представляется несколько туманной.

\* \* \*

Разумеется, я вам предлагаю лишь общий набросок той эволюции, в результате которой возникла Вселенная. В связи с этим вполне естественно сравнить с космическим big bang'ом взрыв какого-то новшества, религии, современного капитализма или же какой-нибудь революции. Мы увидим, как, для того чтобы их объяснить, мы сможем с пользой применить такую мыслительную схему, которую я совсем просто сейчас сформулирую. Допустим, что инновация имеет единственный в своем роде исходный пункт, момент, когда все старое начинает раскачиваться, а все новое, еще неопределенное, заявляет о себе и становится возможным. Она вступает здесь в свою первую взрывную фазу. Сообщество, подобное сверхчеловеческой, раскаленной, и, следовательно, подвижной энергии, ломает оковы традиции, стряхивает собственную инерцию и медлительность. Пока еще неясно осознанные проблемы остаются нерешенными, но подготавливаются условия

существования и деятельности, последствия которых невозможно предсказать.

Затем следует вторая фаза, фаза рационализации и приспособления к потребностям действительности. Первоначальный энтузиазм и порывы утрачивают пыл и направляют свой ход в соответствии с политическими и экономическими требованиями. Это соответствует установлению новой основы, «железной клетки», добровольным узником которой становится сообщество.

Я бы продолжил аналогию еще дальше. Излучения big bang'a продолжают существовать еще долгое время после взрыва, и их можно измерить в зазорах материи, где они улавливаются. Подобным же образом, излучения важнейшей инновации задерживаются в зазорах общества. Их узнают по следам, которые они оставляют в коллективной памяти, в эмоциях, которые они продолжают вызывать, в стремлениях, которые люди ощущают, воскрешая иногда в памяти это грандиозное событие. Для протестантов такое значение имеет Реформация, для евреев — исход из Египта, так же, как для романских народов — основание Рима.

Если над ней поразмыслить, эта достаточно старая аналогия между космическими событиями и событиями человеческими, кажется любопытной. Но она не была бы полной, если бы я не добавил, что эти фазы предполагают какой-то «примитивный атом», первоначальную материю, обладающую фантастической энергией, которую часто сравнивают с огненным шаром. Между тем, мне кажется примечательным, поскольку никто этому не придавал значения, что эквивалент можно найти в теории Вебера, тогда как ни в одной другой теории, насколько я

понимаю, этого нет. Эту первоначальную материю, во многих отношениях, можно соотнести с харизмой. Не только потому, что это понятие указывает на единичное состояние сильного эмоционального возбуждения. Но также потому, что оно представляет собой экстраординарные дарования и необычные силы, необходимые для того, чтобы победить инерцию привычки и безразличия.

Какой же смысл может иметь столь загадочное понятие? Три четверти века никто или почти никто не попытался его прояснить, и о нем сейчас известно немногим больше, чем вначале. Если харизма это, в конечном счете, не более чем название, если мы допускаем ее существование, почти не ведая ее природы, не время ли признать, что мы находимся в плену завораживающего мифа? Да, в этом что-то есть, но этот миф сам по себе не индифферентен...

А пока что заметим, что инновации, объясняемые харизмой, не осуществляются обычными общественными и историческими путями. Американский социолог Питер Блау упрекает Вебера в том, что его теория не содержит «анализа исторических процессов, которые порождают харизматические всплески в социальной структуре». Как она может его содержать, если такие инновации, по всей видимости, имеют не историческую природу? С другой стороны, они отличаются от всплесков и изменений, которые имеют место в устоявшемся обществе, подобно тому, как первоначальные взрывы, вероятно, осуществляются иным образом, чем взрывы во вселенной, в которой мы живем. Они должны были бы подчиняться физическим законам другой природы, чем наши.

Однако не будем заходить слишком далеко с этими аналогиями. Единственно важное здесь — это

представление о переворотах и революциях как о таких же big bangs. Могучий поток истории рационализирует их до такой степени, что невозможно уже различить их источник.

\* \* \*

Вернемся же к харизме, которая могла быть созидательной энергией на том первоначальном этапе. В истории наук это не первый случай, когда ученый предлагает понятие, настолько же инородное по отношению к явлениям, которые оно должно объяснить, насколько и трудно уловимое. Магнетические флюиды физиков, флогистоны химиков или витальные силы натуралистов напоминают нам об этом. Каждое из этих понятий по-своему задействует причинную связь и в данный момент этого достаточно для понимания реальности. Но в истории научной мысли, конечно, в первый раз случается так, что религиозное понятие сосуществует с такой безупречной теоретической строгостью и обладает такой популярностью. В теологии харизма означает благодать и божьи дары, которые позволяют людям выполнить исключительную задачу. Эта сверхъестественная возможность дает им силу и обязывает. Об этом говорит святой Павел: «И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования». Отвечая на призыв, человек посвящает себя службе другим, будь то воспитание, руководство, помощь страждущим или исцеления. Это единственный путь быть включенным в истинное сообщество. Святой Петр утверждает это: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многообразной благодати Божией».

По мере своего перехода на социальную территорию это понятие сохраняет точный смысл. Оно означает «благодать» одновременно в теологическом смысле божественного выбора и в психологическом смысле внутренней уверенности и магнетической притягательности для других. Имеется в виду, что некая личность господствует посредством «призывания» и обладает исключительными качествами, которые даруют ей притягательность. В результате, харизма представляет собой одновременно наличие чрезвычайной силы и чрезвычайное отсутствие силы в нарождающемся сообществе, где «люди себя чувствуют полноправными членами своего сообщества».

Рассматривая ее таким образом, мы могли бы попытаться увидеть в ней определенное количество возможности, способности воздействовать, подобно тому, как либидо означает количество сексуальной энергии. Какую бы интерпретацию мы ей ни дали, харизма представляет собой нечто дорациональное, но это дорациональность истоков, если можно так сказать, времени, когда все между людьми происходило непосредственно, в личном и субъективном плане. Точнее сказать, она проявляет себя словно в скобках религиозных или политических установлений и экономических интересов каждого...

Заметим, что харизма обнаруживает эмоциональную нагруженность, напор страстей, достаточный для того, чтобы выйти из непосредственной реальности и вести иное существование. Каждый ощущает избыток увлекающих его сил. Или же у него создается впечатление воплощения высшей силы, которая одушевляет совместную деятельность, делая ее безудержной. Она движет им, так сказать, изнутри, как мотор, получивший от акселератора прибавку энергии.

Чтобы этого достичь, культуры изобрели приемы, предназначенные для подъема этого напора эмоций и страстей. Вебер часто к ним обращается: «Могло бы показаться, что еще более длительное состояние одержимости от харизматического состояния обеспечивается этими мягкими формами эйфории, которые переживаются либо как мистическое озарение, подобное сну, либо более активно в качестве этического обращения». Формы поведения, приближающиеся к формам одержимости, это, надо признать, интоксикация наркотиками, танцем или музыкой. И они не ограничены архаическими культурами и эпохами и не специфичны для религиозной или магической харизмы.

Зачем же заходить дальше в эту область с такими нечеткими очертаниями? Да несомненно, за тем, что каждая из описанных черт показывает нам, что харизма подобна своего рода высокой энергии, *materia prima*, которая высвобождается в кризисные и напряженные моменты, ломая привычки, стряхивая инерцию и производя на свет чрезвычайное новшество. Чтобы лучше прояснить его природу, я бы назвал первичной харизмой ту, которая нечувствительна к ограничениям повседневной жизни и рассеяна в сообществе. В то время как вторичная харизма является особым качеством человека, который притягивает других и воздействует на них. Содержанием одной будут общие страсти, которые воспринимаются как естественная потребность. Другая представляет собой силу, сообщающую этим страстям точное направление с тем, чтобы реализовать политическую задачу или религиозное призвание. А еще потому, что эти черты выделяют особенности, которые противопоставляют ее разуму. Действительно, то, что происходит под эгидой «рацио», —

это история, приводящая нас в движение извне, и пассажирами которой мы оказываемся. Тогда как харизма является причиной внезапных взрывов изнутри общества и переключения его членов на деятельность, результат которой зависит от их качеств. Одна преуспевает в непрерывности, тогда как другая беспрестанно совершает разрывы и прерывает ритмичный ход вещей.

Этот контраст, по-моему, наводит на мысль о сходстве с big bang языка, как о нем упоминает Леви-Стросс: «Вещи не могли постепенно приобрести значение. В связи с трансформацией, изучение которой не состоит в ведении общественных наук, а только биологии и психологии, совершается переход от одной стадии, на которой ничто не имело смысла, к другой, где все им обладает. Между тем, это замечание, с виду банальное, важно, поскольку такое радикальное изменение, безусловно, существует и в области знания, которое вырабатывается медленно и постепенно. Иначе говоря, в тот момент, когда целая вселенная вдруг обрела значение, она посредством этого не стала лучше познанной, даже если это верно, что появление языка должно было ускорить ритм развития познания».

Аналогичная противоположность существовала между трансформациями, которые ускоряет первичная харизма, и теми, которые вызваны разумом. Первые достигают высшей точки, когда возникает смысл, и когда предыдущие попытки провалились в бездонное прошлое. Их перестают понимать подобно тому, как перестают понимать язык, такой, как, например, этрусский, на котором никто больше не говорит. А вторые совершаются с ясностью и точностью, примером чему могли бы служить экономика и техника.

Поражаешься той настойчивости, с которой Вебер возвращается к этому контрасту. И всегда для того, чтобы отметить это свойство, можно сказать, психический характер харизмы. Или, во всяком случае, «чуждость экономике» во всей ее очевидности. Там, где появляется харизма, она представляет собой «призвание» в эмпатическом смысле этого слова: как «миссию» или «внутреннюю задачу».

Почему в конце концов не сказать об этом? Противоположность харизмы и разума напоминает знаменитую притчу, в которой Ницше противопоставляет друг другу Заратустру и Диониса. В исследованиях, которые он посвящает религии, Вебер делает из Заратустры сторонника «борьбы против магического культа опьянения и за веру в собственную божественную миссию» — шаг по направлению к пророчеству. Дионис же воплощает в себе оргиастические культы самоопьянения и мистической веры в божественную одержимость. Но когда Гельдерлин называет этого бога духом общности, следует понимать, что посредством него каждый, мертвый и живой, принадлежит к этому сообществу. Отсюда, пыл, оживляющий дионисийский праздник, самый тайный источник интимности.

### **Влияние денег. Толпы «неличностей» и случайных групп**

Я считаю себя обязанным признаться, что меня удивляет мысль Зиммеля о том, что на путях к свободе деньги сыграли историческую роль, ликвидируя личные отношения, сотканные в течение тысячелетий. Эту идею можно представить в виде об-

раза человека, который не видит в другом человеке себе подобного, но лишь автомат или проходящего мимо незнакомца, чьи реакции его совершенно не волнуют.

Деньги побуждают нас вести себя с некоторым безразличием по отношению к другим. Это способ самозащиты от мимолетных чувств или впечатлений, которые могут взаимодействовать с нашими интересами и уменьшить ожидаемые выгоды. «Дело — это дело» — вот ответ на любой протест и объяснение отсутствия великодушия по отношению к другому человеку. По этой причине человек, единственный интерес которого составляют деньги, даже не понимает, что его можно упрекнуть за жесткость. Он видит лишь логическую сущность и последовательность своего поведения и не признает за собой какого-либо злого умысла.

Вот, например, проституция. Признанный и почти религиозный институт, она лишается всякого украшения, становясь совершенно продажной. Обращение удовольствий и обращение денег смешиваются в обращении сексуальных желаний. Женщина представляет стоимость, ибо ее тело — это капитал, то есть такой же предмет обмена, как и деньги, которые платят за предоставляемые услуги. Это тем более верно в отношении мужчины, который во что бы то ни стало стремится получить нечто личное, ожидая чувства или оргазма от женщины, оплаченной как раз за отсутствие того и другого. И воспринимает как грубость или холодность тот факт, что их не получает.

Плата за внебрачные личные отношения открывает нам некое свойство природы денег. Они могут служить абсолютно любым целям. Никто не наделя-

ется с их помощью какой-либо привилегированной связью, так как их отношение одинаково ко всем. Они индифферентны по отношению к внутренним качествам, ибо, являясь простым средством, они не приносят никакого аффективного отношения. Ведь после того, как они преобразуют личный контакт в безличную связь, обратная операция столь же трудна, как превращение холодного источника в горячий. Этого можно достичь лишь в воображении или в галлюцинациях, но никогда — в реальности.

Однако сегодня столь процветающая эротическая индустрия совершает этот подвиг. Она апеллирует к порнографии, которая не только «говорит все», но и «показывает все», описывая самые разнужданные, невероятные, а то и извращенные, сексуальные жесты. Существуют агентства, в которые клиенты звонят, чтобы рассказать о своих сексуальных фантазиях неизвестно кому, и платят за то, что их выслушивают. И существуют самые изощренные электронные устройства, такие, как минитель, с помощью которых продаются и покупаются невидимые проститутки для реально не осуществляемого, абстрактного секса. Затемненная коммерциализированная эротика, тайна участвуют в «рентабилизации» общественной услуги.

Те же черты, без сомнения, обнаруживаются в браке, когда он заключается на основе денежной сделки. Еще более четко они проявляются в коррупции, которая под покровом уважения к социальным законам ведет к грубому насилию над ними; их бессовестно обращают на пользу одного индивида. Если этот почтенный институт меньше проявляется на Западе, чем в других местах, где он выступает в неприкрытой форме, то именно деньги служат ему маской.



Поскольку существует стремление сохранить фасад общественной морали и строгости нравов, сам акт коррупции становится неуловимым и маскируется даже в глазах того, кто его совершает.

Секретность становится почти нерушимой. Для получения недозволенного достаточно анонимного денежного документа, чека или цифры, скрытой среди многих других; и вот богатство индивида растет, ничем себя не выдавая. Получатель может симулировать поразительное неведение по поводу экономики дарений, он может разыгрывать комедию перед самим собой, маскируя происхождение денег в своих собственных глазах, ибо он не принял ничего осязаемого и не насладился обладанием. Бездоказательность, отсутствие материальных улик злоупотребления и нарушения закона превращают коррупцию в обычную сделку.

Вот что помогает понять, каким образом вообще деньги позволяют маскировать факты и мотивы. Они незаметно скрывают от сознания смысл поступков и позволяют избежать собственной цензуры так же, как и суда других, которые ничего не видели.

\* \* \*

Я утверждаю, что безличный характер, который деньги навязывают нашим личным отношениям, создает особые двусмысленность и жестокость, которые пропитывают всю социальную сферу целиком. До такой степени, что начинает казаться иррациональным или неадекватным поведение, создающее впечатление, что безличные отношения могут формулироваться по образцу личных. Как например, поведение коммерсанта, заявляющего, что он устанавливает вам «дружескую цену», или банкира, который одалжива-

ет деньги без процентов на основе одной лишь симпатии. Ибо проявлять великодушие, взывать к чести там, где необходимо повиноваться законам рынка и считать предельно точно, — это означает идти против самой природы экономики и нарушать ее законы. Ибо она не оставляет никакого места для такого великодушия, которое, дело известное, лишь готовило бы свое собственное разорение. Современный Дон Кихот более не сражается с ветряными мельницами. Он борется с силлогизмами безразличия и логики барышей и потерь, одинаковой для всех.

Необходимо понять следующее, все люди будут вести себя по-донкихотски много, много раз. Вы угадываете, что очень сложно иметь безошибочное чутье, отличающее безличное от личного в едином отношении, рациональное от иррационального в едином действии. Тем более что для этого у нас есть только абстрактные неуловимые указания, в которых никогда нельзя быть уверенным. Сколько раз мы принимаем одно за другое: рекламное обращение — за лично нам адресованное письмо, снижение продажной цены — за подарок. Несмотря на эту двусмысленность, все это происходит от тенденции сводить качество к количеству и обесценивает каждое личное отношение, благоприятствуя множеству отношений безличных.

Ни одна сфера общественной жизни не может избежать этого. Если жалуются на поверхностный характер отношений между людьми, на их нежелание участвовать в общих делах, это происходит не от желания изолироваться и защититься от вторжения в личную жизнь, как можно было бы подумать. Речь, напротив, идет о способе участвовать в общественной жизни в нашем обществе.

До недавнего времени принадлежность к корпорации, религиозной общине, например, приходу, к группе внутри квартала, профсоюзу или даже семье полностью вовлекала в себя каждого человека. Он должен был посвящать им время, разделять верования, подчиняться общим традициям и использовать ту же символику, полностью уплачивая налоги и неся другие повинности, выражавшие солидарность.

«В средние века, — напоминает Зиммель<sup>1</sup>, — принадлежность к какой-либо группе полностью поглощала индивида. Она не только отвечала временной и объективно определенной цели, но скорее связывала всех объединенных этой целью и полностью поглощала жизнь каждого из них».

Они были в состоянии ограничиться малым количеством объединений, состыкованных друг с другом. Но начиная с того момента, когда обмены умножаются, а деньги циркулируют, принадлежность к группе становится зыбкой и требует от индивида лишь частицы, подчас незначительной, его личности. Таким образом, становится возможным совмещать принадлежность ко многим объединениям. Кроме того, членство предполагает уже не вопрос «что ты думаешь?» или «каковы твои цели?», а лишь — «сколько ты платишь?». Тот, кто приобретает его, лишь платя взнос, неизбежно меньше ангажирован.

---

<sup>1</sup> Зиммель Георг (1858—1918) — немецкий социолог и философ, культуролог. Если в философии Маркса человек отчуждается от «родовой сущности», возврат к которой возможен только через устранение отчуждения, то Зиммель переворачивает отношение — отчуждение создает соответствующего времени человека, способствует его индивидуализации. — Примеч. ред.

Более того, деятельность секретариата, казначейства или пропаганда обеспечиваются профессиональными наемными служащими и активистами. Более нет необходимости вкладывать себя, жертвовать ради этих дел своим временем и самим собой. Для того, кто осознал эти удобства, сама собой разумеется принадлежность к большому числу ассоциаций в соответствии со своими средствами и потребностями. Каждый день возникают новые, и никто не обращает на это внимание.

Конечно, деньги избавили индивида от зависимости от небольшого числа людей или институциональных групп. С другой стороны, фрагментировав его и сделав мобильным, они поставили индивида в зависимость от толпы «неличностей» и случайных групп. Противовесом личных отношений, которые могут быть лишь немногочисленными, служат отношения безличные, весьма многочисленные, и таким образом создается непрочное равновесие. В общественной жизни количество становится таким образом ее качеством. И часто качеством абстрактным и индифферентным, поскольку социальная принадлежность индивида сводится к подписанию чека, обладанию членской карточкой и получению периодического бюллетеня, который он выбрасывает или коллекционирует, не читая.

Возникающая отсюда социальная полифония проявляется в этом одновременном и фрагментарном участии в нескольких кружках, не связанных между собой подобно нотам современной музыки. Никто не представляет более особого значения, ни одно создание не имеет для другого такой значимости, чтобы можно было написать со страстью Андре Жида в конце книги «Яства земные»: «О, забудь

меня, как я тебя забываю и делаю из тебя самое незаменимое из земных созданий». Каждый становится уникальным в среде всеобщей взаимозаменяемости и все объединяется в самом совершенном безразличии.

Речь идет об изолированных индивидах, не имеющих общей мерки, избегающих устойчивых рамок и как будто бы внедряющихся в общественную галактику лишь для того, чтобы отбросить все свое особенное, сливаясь со всеми. «В то время как в предыдущий период развития, — утверждает Зиммель, — человек должен был платить за редкие отношения зависимости узостью личных связей, а зачастую и тем, что один индивид являлся незаменимым, в настоящее время мы компенсируем многочисленные отношения зависимости индифферентностью, проявляемой к людям, с которыми мы вступаем в отношения, и свободой заменить их в любой момент».

И это тем более верно, что деньги в силу своих императивов требуют определенной скорости развития и интенсивности отношений, опрокидывают тех, которые топчутся на месте, не меняя партнеров и интересов. Так, с одной стороны, они ограничивают и обедняют каждое социальное пространство; с другой, резко увеличивают количество таких пространств. Рабочий и предприниматель, покупатель и торговец, квартиросъемщик и домовладелец сокращают свои контакты, сводят их к минимальному взаимодействию, которое подтверждает объективная цена: автоматически выплачиваемая зарплата, устанавливаемая путем переговоров коллективными органами или политическая реклама, фиксированная декретом квартплата.

\* \* \*

В современную эпоху индивид все более и более похож во многих отношениях на чужака прошлых времен, врага и мимолетного гостя. Не будучи интегрированным в коллектив, он совершенно не связан эмоциональными и традиционными верноподданическими чувствами. Этот тип особенно распространен в городах, где уже одна плотность населения утверждает характеры. Каждый отдает отдельные частицы самого себя разъединенным видам деятельности: труд, дружба, досуг, политический выбор специализируются. И каков же результат? Окольное восприятие, измельченные воспоминания и односторонняя логика.

Иногда случается, что «я» вынуждено платить завышенную цену, чтобы смягчить их диссонансы, которые слишком тяжелым бременем ложатся на психику. Индивид должен быть очень сложно организован и несколько раз разделен на объективное и субъективное существо, которые поддерживают между собой абстрактные отношения. «Психологический фундамент, на котором возвышается тип индивидуальности, присущий большим городам, — пишет Зиммель, — это интенсификация нервной жизни, которая вызывает внезапное и непрерывное изменение внешних и внутренних впечатлений».

Город распространил этот человеческий тип и демократизировал индивида, превратив его, надо добавить, в чисто количественную величину, ибо от него не ждут никаких героических поступков, никакой добродетели и никакого другого особого качества. Он сразу оказывается, если использовать вы-

ражение Музиля, «человеком без свойств», то есть лишенным постоянных связей с группой, семьей, профессией в течение всей его жизни и чувства привязанности к ним, которым ранее был преисполнен.

Но деньги, которые растворили его в безличных отношениях, одновременно объединяют его с другими в громадных массах, порожденных промышленностью, и в бюрократических пирамидах. Все вместе они ищут то, что каждый потерял, то есть общие и личные контакты внутри коллектива. В уличных ли движениях, на гигантских музыкальных концертах, патриотических или спортивных мероприятиях, иногда имеющих насильственный характер, — каждый удовлетворяет эту потребность как может.

Пока современный характер городской толпы недостаточно понят. Она объединяет рациональных в экономическом и культурном смысле слова индивидов в общество, которое нас разделяет. Она делает непрерывными и интенсифицирует на какой-то момент все связи и прерывистые отношения бесчисленных людей. Она представляет и возносит основное в человеке, то есть чувство количества. Но чтобы достичь этого, масса вынуждает индивидов изменить свою психологию на противоположную, подавить способности к критике и эгоистические интересы.

Не так было в прошлом. В Древнем Риме, в Средние века и до недавнего времени, городская толпа продолжала личные связи, существовавшие в семье, в профессиональной группе, в Церкви. Она рождалась из других толп и не была призвана ни изменить психологию индивидов, ни изменить тенденцию, которая их разъединяла и делала безразличными друг

к другу. Короче, если все предшествовавшие общества имели массы, то лишь наше общество само является массой. Тот, кто видит в нем только одного индивида или только одну массу, имеет превратное представление о природе современного общества.

\* \* \*

Согласно Новалису, рай, изначально единый, впоследствии был распространен по поверхности земли, скрыт в щелях материи и, так сказать, превратился в мечту. То же произошло и с деньгами: особая субстанция, предназначенная лишь для нескольких операций дарения или обмена, они проникли во все ячейки общества и стали его основанием. Если оно развивается и накладывает печать на культуру, то это может происходить лишь в одном направлении — меры, то есть точности.

Деньги здесь, возможно, ни при чем, но как это узнать? Когда деньги входят в жизнь и ставят свои условия, становится ясным, что они ликвидируют личное суждение, взгляд и привычку к приблизительному как нечто неразумное и субъективное. Вкус и цвет подлежат обсуждению, но не стоимость чека или франка. Взвесить товар на руке, чтобы оценить его вес, попробовать монету на зуб, чтобы убедиться, что она золотая, а не медная, заглянуть в глаза торговцу, чтобы узнать, честен ли он, — все это вышло из употребления.

Каждый должен рассматривать индивидов и вещи сквозь призму денег, под углом счета и точности. Все остальное не имеет значения, являясь лишь ошибками и блужданиями души. Этого требует логика, сводящая любого человека и любую вещь

к эталону, не обращая внимания на его достоинства и изъяны, чтобы установить его меновую стоимость с точностью до десятичной дроби.

Какое страшное слово! И однако, если принять во внимание объем взаимодействий и суммы, поставленные на карту, десятичная дробь имеет значение. Каждый, кто умеет смотреть и видеть, знает, что в искусстве или технике, науке или общественной жизни все измеряется с этой точки зрения. Это трюизм, что исследование, идея, спортивное достижение оцениваются в зависимости от успеха, количества золотых медалей, нобелевской премии и скорости.

О, я и не думаю иронизировать, я довольствуюсь перечислением аспектов этой возросшей объективности наших средств и наших целей! «Скорее всего, — пишет Зиммель, — поскольку вся структура средств является структурой рассматриваемых непосредственно причинных связей, практический мир также становится во все большей степени проблемой, которую необходимо понять. Точнее говоря, постижимые элементы действия становятся отношениями, объективно и субъективно поддающимися вычислению; они последовательно устраняют эмоциональные реакции и решения, которые связаны лишь в поворотные моменты жизни с конечными целями».

«Подобно тому, как аффективная тональность исчезла из объяснения естественных процессов, — продолжает Зиммель, — а разум занял ее место, так и объекты и отношения нашего практического мира в той мере, в какой они образуют все более и более взаимосвязанные ряды, исключают вмешательство эмоций».

Вот совершенная антитеза культуре, которая царствовала до сих пор, заключая в себе чувства, желания, намерения, цели и злых гениев. Три прилагательных: безличный, инструментальный, объективный эквивалентны и резюмируют нашу культуру. Они являются синонимами рациональности, их перспектива бесконечно расширяется и их методы принимаются образованием, администрацией, государством.

В этом и заключается секрет: осуществляемые над деньгами операции освобождаются от них, чтобы определять операции, ежедневно осуществляемые в сфере труда, науки, частной и общественной жизни. Даже включая и правила демократии, согласно которым меньшинство должно подчиняться большинству. Это ясно указывает, что индивид не имеет качественной ценности. Его определение — чисто количественное. Оно выражается в формуле: один человек — один голос.

Эта арифметическая процедура имеет свое следствие. Каждая группа, большинство или меньшинство, включает определенное число лишенных индивидуальной специфики единиц (людей), и нивелировка формирует ее внутреннюю реальность: «Каждый считается за единицу, никто не приравнивается к числу большему, чем единица».

То, что Зиммель говорит о демократии количественной, демократии голосований, применимо и к демократии мнений, то есть к нашей демократии. Опросы, почти ежедневные, выявляют эти мнения и образуют кривую настроений, как если бы все ответы на вопросник имели бы одинаковый вес и обязывали бы в одинаковой степени.

Эта страсть к измерению, взвешиванию и подсчету, которая свирепствует в наши дни, сходит за самое чистое отражение современного интеллектуализма. Его улавливают даже в языковой тенденции избегать метафор и парафраз, заменять символическую мысль чисто знаковыми кодами. Вместо употребления, как это было в прошлом, сокращенных названий привычных слов — например, метро вместо метрополитена — их сводят к аббревиатурам. Абстрактные и анонимные знаки, они стирают любой конкретный образ, который может открыть дорогу аффектам. Былая Лига Наций превратилось в ООН, вместо венерических заболеваний говорят о М.Т.З.Л.<sup>1</sup>, военный пакт, заключенный между странами, называется НАТО, а наш самый быстрый поезд Т.О.В.<sup>2</sup> Все обозначаемое этим языком без слов не должно ни демонстрироваться, ни ощущаться, но оставаться скрытым по самой своей форме.

Заглавные буквы даже не разделяются более точками, ибо эти аббревиатуры, превратившиеся в акронимы, выдаются за слова (например, НАТО) и соединяются, имитируя математические формулы. Язык становится тривиальным и рационализируется в этом процессе, который трансформирует его, по выражению Зиммеля, в «чистое средство средств», индифферентное к своей цели, которой является смысл.

В этом мире, где символы уступают место знакам, а приблизительные суждения — правилам, проявляется стремление максимально увеличить точность жеста и мышления. Везде первенствуют «вы-

<sup>1</sup> Maladies transmissibles sexuellement (фр.) — болезни, передающиеся половым путем. — Примеч. пер.

<sup>2</sup> Train Grande Vitesse (фр.) — высокоскоростной поезд — Примеч. пер.

числительные» способности разума, а общественные и индивидуальные отношения занимают последнее место. Нумерологические влечения в жизни — это безошибочный показатель, ее высший идеал. «Познавательный идеал, — пишет Зиммель, — это понимание мира как огромной математической задачи, понимание событий и качественных отличий вещей как системы чисел».

\* \* \*

Общество переворачивает новую страницу. И на этой странице нет ничего, кроме чисел. Захлестнув науки, арифметика находится в процессе превращения во многих отношениях в интимный дневник наших мыслей и нашего поведения. Ее абстрактный язык анализирует наш выбор и наши предпочтения и на их основе составляет наш портрет. Ясность и пунктуальность являются необходимыми условиями. Общество требует от каждого суждений, поведения по отношению к другим и выполнения обязанностей, идеально соответствующих математической формуле. Не скупясь, передаю слово Зиммелю, так как именно он понял и со всей тщательностью разъяснил этот феномен. «Психологическая черта нашего времени, — утверждает он, — ... как мне кажется, находится в тесной причинной связи с монетарной экономикой. Монетарная экономика навязывает нашим ежедневным взаимодействиям обязательные непрерывные операции. Для многих людей жизнь проходит в оценке, взвешивании, вычислении и сведении качественных стоимостей к количественным. Оценка стоимости в монетарных терминах научила нас определять и вычислять стоимость до само-

го последнего сантима и таким образом сформировала у нас максимальную точность при сравнении различных жизненных содержаний».

Такая точность — всего лишь средство продемонстрировать глубокую рациональность этой жизни. Но как соотносить между собой, сравнивать подобно физическим телам с максимальной точностью многообразные, текучие материи? Как идентифицировать, оценить, классифицировать желания и действия, которые всегда избегали измерения? Эти постоянно возникающие вопросы приводят к одному и тому же ответу, и приводят к нему одними и теми же путями. Бог-часовщик, который, согласно Декарту и Галилею, создал правильное движение планет во вселенной, установил его также и для общества. По крайней мере, в этом убежден Зиммель, и приводимое им сравнение выглядит убедительным: «Так же как всемирное распространение карманных часов сделало внешний мир более точным, так же и вычислительная природа денег сообщила существующим отношениям новую точность, надежность определения идентичности и различий и полное отсутствие двусмысленности в соглашениях и договорах».

Сходство между деньгами и средствами точно-го измерения поразительно, между ними царит полное согласие. Все, что узнаем, мы узнаем благодаря математическим способам. Благодаря им и только им мы приобрели наиболее важные из наших знаний. Все вместе они образуют эти механические способности, необходимые людям, чтобы считать себя «господами и владельцами природы» и самих себя. С тех пор в обществе более чем когда-либо преобладает умение, близкое к инженерному, исключаящее самодельное мастерство прошлого, осуществляемое

посредством машины, идеальной моделью которой является автомат.

Все ясно и вполне приемлемо: разум и общество сливаются. Философ Лукач полагал, что «эта рационализация мира, по-видимому, целостная и проникающая вплоть до физического и психического бытия человека, ограничена формальным характером своей собственной рациональности». Для того, кто не хочет предаваться пустым надеждам, это ограничение иллюзорно. Бывший студент Зиммеля был лучше подготовлен внимать вечной мудрости, которая, напротив, уважает могущество форм, даже боится его. На какое-то время они становятся знаками культуры и матрицами, в которые заключено сознание людей.

Однако кульминацией проблемы рационализации общества является то, что я назвал бы обесцениванием характеров. Это означает выскабливание у индивида качества индивида. В течение жизни последних поколений уже удалось заставить его отказаться в конечном счете от инстинктивных черт и склонностей, придающих ему уникальный характер. И это было не случайно, ибо число социальных сред, к которым он принадлежит, обмены, в которых он участвует эфемерным образом, влекут его за пределы его собственного «я», — даже если все это происходит лишь в сфере экономических отношений. «Обмен как таковой, — констатирует Зиммель, — является первой и самой чистой схемой количественного расширения экономических сфер жизни. Посредством обмена индивид в основном выходит за пределы солипсического круга — гораздо больше, чем путем воровства или преподнесения подарков».

Деньги в самой жесткой форме побуждают каждого выйти за свои пределы и подчиниться формам мышления и действия, идентичным для всех. Продолжают существовать лишь нейтральные и объективные черты, лишённые любых украшений и любой видимости. Настоящий «хитон Несса»<sup>1</sup> — деньги ткнут второе тело общества, математизированное и гомогенное, в котором более нет особых, замкнутых на определенном человеке отношений. Можно сказать, картезианское общество, в котором «априорными элементами отношений являются более не индивиды с их собственными характеристиками, из которых рождается социальное отношение, но скорее сами эти отношения в качестве объективных форм — «позиций», пустых пространств и контуров, которые индивиды должны просто заполнить каким-либо образом».

Для тех, кто заполняет пустоту, выполняя функцию чистой набивки, свойства теряют цену. Индивид более не заботится о чести или престиже. Верность или упорство в убеждениях более не оправданы. Вмешательство семейного или патриотического чувства может повредить суждению о стоимости средств и точности действий. Тогда субъективное пристрастие столкнет нас с траектории, которой необходимо следовать и которую нельзя изменить. В этом случае будет уже невозможно считать так же естественно, как дышать, вступать в отношение с другими людьми как с «позицией» отвлеченно и непредвзято.

---

<sup>1</sup> Н е с с (из древнегреч. миф.) — кентавр; пытался овладеть супругой Геракла Деянирой, за что Геракл убил его. Геракл, надевший хитон Несса, который был пропитан ядовитой кровью кентавра, погиб. — Примеч. ред.

\* \* \*

Человек с характером обладает демоном, он следует своим собственным путем в той мере, в какой придерживается своих идей, признает свои желания, предпочитает одну вещь другой и не чувствует себя вероломным. Его единство выражается в идиосинкразии<sup>1</sup>, которая довлеет над ним и императивно диктует ему его обязанности. Это, как говорят, человек слова. Но в обществе, где действие должно быть обдуманно, где каждый должен адаптироваться к объективным обстоятельствам и изменчивым интересам, лучше быть обделенным характером. К любому индивиду приложимо то, что сказал Бальзак в романе «Банкирский дом Нусингена»: «Великий политик должен быть абстрактным злодеем, без этого общество плохо управляемо. Честный политик — это паровая машина, испытывающая чувства, или лоцман, занимающийся любовью за рулем..». Почему? Просто потому, что тогда его отношение к вещам и людям определяется совершенно личными убеждениями, необдуманной привязанностью.

Это обширное нагромождение ощущений и разума, каким является индивид, должно быть дистанцировано от специфических содержаний и мотивов, чтобы быть похожим на деньги, которые равным образом от них дистанцированы, должно быть оппортунистичным, чтобы лучше вписаться в поток об-

---

<sup>1</sup> И д и о с и н к р а з и я (от греч. *idios* — частный, особенный и *sygkrisis* — смешение) — индивидуальная особенность организма, заключающаяся в болезненной реакции на некоторые раздражения (зрительные, вкусовые, обонятельные; мед.). — Примеч. ред.



менов. Имея проницаемое, гибкое, не ищущее единой точки опоры «я», он становится совершенным обитателем этого «мира свойств без людей, пережитого опыта без тех, кто мог его пережить», который любил описывать Музиль<sup>1</sup>. Отделение от самого себя и объектов приобретает такую значимость потому, что оно позволяет людям, полностью им поглощенным, — а кто может избежать этого? — приобрести главное качество — «качество отсутствия характера».

Качество мобильности и переменчивости индивида без демона, который не чувствует себя связанным каким-либо априорным принципом, внутренним долгом и не подчинен раз и навсегда какой-либо норме. Ибо он предается движению, где ничто ни на мгновение не остается в состоянии покоя, «ни один человек, ни один порядок; потому что наши знания могут изменяться каждый день», и он «не верит ни в одну связь, и каждая вещь сохраняет свою ценность лишь до следующего акта творения, как лицо, с владельцем которого говорят и которое изменяется вместе со словами». Такой характер является лишь рядом сочетаний и импровизаций, он служит лишь тому, чтобы соответствовать обстоятельствам.

Так заявляет о себе закон рационализации общества: индивиды, у которых меньше характера, изгоняют тех, у кого его больше, подобно тому, как плохие деньги изгоняют хорошие. Расчетливая

---

<sup>1</sup> Музиль Роберт (1880—1942) — австрийский писатель, один из создателей так называемого интеллектуального романа XX в. Главная тема произведений — кризис европейского духа конца XIX — первой половины XX в.

осторожность предписывает никуда не вовлекаться глубоко, не слушать голос совести, чтобы сохранить внимание к итогу обменов и равновесию интересов.

Вот что пишет Зиммель по этому поводу: «Тенденция к примирению, рожденная безразличием к основным проблемам нашей внутренней жизни, в высшей степени характеризуется спасением души и не подвластна разуму. Она может дойти до идеи мира во всем мире, что является особой прерогативой либеральных кругов, исторических представлений интеллектуализма и монетарных взаимодействий. В этом и заключаются последствия недостатка характера. Это отсутствие цвета становится, так сказать, цветом трудовой деятельности в самых важных пунктах взаимодействий».

В итоге современный индивид, свойством которого является отсутствие характера, противостоит традиционному индивиду, определяемому характером, как буддист противостоит христианину и иудею. Буддист может быть лютеранином, адвентистом, иудеем, католиком или мусульманином. Он вполне может обратиться в ислам или католицизм. Однако христианину или иудею не придет в голову, что он может быть одновременно добрым буддистом. Более того, если мы иудеи, мы должны верить, что есть лишь один Бог и что Моисей — его последний пророк. Если мы христиане, мы должны верить, что единственный сын отца небесного был распят на кресте, а затем воскрес в Палестине. Зато мы можем быть буддистами и отрицать существование Будды. Точнее мы вправе думать, что наше суждение об этом мало что значит.

\* \* \*

Такова панорама, начертанная деньгами. Побродив по краю, они проникают во все закоулки человеческих отношений и явлений. Чем они занимаются? Повсеместным внедрением разума, способного точно представить дистанцию между индивидами и вещами, эквивалентность между самыми разнообразными вещами и свести их качества к единому количеству.

Кто может отрицать их успех? И если разум предстает нам в тройном аспекте: безличности, эмансипирующий индивида, инструментальности, рационализирующей общество, и девалоризации, объективирующей характеры для адаптации индивидов к этому обществу, то тем самым он размывает иерархию, превалировавшую в течение тысячелетий. Действительно, деньги, которые разрушают фундамент отношений человека к человеку, сами же и восстанавливают его, согласно другой логике. Они создают иерархию, опирающуюся более не на привязанность и признательность, но на науку о средствах и целях. И так обновляют основы власти в нашем современном обществе.

Бальзак резюмирует это, когда пишет в «Трактате об элегантной жизни», что она заменила «эксплуатацию человека человеком на эксплуатацию человека разумом». Удивительно точная формула, если не нагружать слова значением, которого они не содержат. Скачок к рациональному обществу — его можно назвать по-разному — начинается с монетарной экономики, которая повсеместно ускоряет свое движение и приобретает всеобщий характер.

И однако что-то отдаляет нас от него и приводит к тому, что никто не может чувствовать себя в нем как дома. Можно сказать, что большинство событий и обретений индустриального и интеллектуального мира привели к таким последствиям, которых никто не желал, и потребовали жертв, непереносимых для всех. Большинство общественных форм предстает в меньшей степени как рациональный порядок, чем как вулканы, которые извергали огонь так долго, что их внутренние стенки растрескались и можно увидеть потухшие угли. Такое видение свойственно современности, ее взгляду на свое собственное прошлое и на те жертвы, на которые она пошла, чтобы выковать цивилизацию будущего.

### **Общество одиночек**

Как определить момент, когда закончилась протестантская мечта и начался кошмар капитализма? Маркс, конечно, произносит торжественную обвинительную речь, изобличающую виновность капиталистов. Распространяя повсюду горький и пагубный яд наживы, они развратили женщин, детей и тружеников. Более того, они обострили у всех самые низкие инстинкты, ввергли каждого человека в моральный и сексуальный промискуитет, в порок потребления, чтобы превратить его в товар. Стоит ли говорить о несомненной обоснованности всякого обвинения рабочими капиталистов, о ценности элементарной справедливости.

Но слова Макса Вебера, даже (и особенно!) если они не правдивы, восстанавливают невинность этих святош от капитала, преданных телом и душой сво-

ему делу. Он наводит блеск на корни прошлого, когда благородные пуритане — вспоминаются благородные дикари из литературных произведений — осуществляют на практике строгие и действенные добродетели, прославляющие их собственного бога. Святые, которые, сами того не желая, готовят рождение в Европе экономики и цивилизации разума.

Что бы мы ни думали о его теории — дух капитализма отклоняется от поисков спасения, — она таит в себе многочисленные выводы о психологической сложности современного общества. Поскольку, указывает Вебер, оно запрещает всякое удовольствие, любое праздное использование своих сил и времени. Человек должен отказаться от всякого удовлетворения, которое могли бы принести богатство, чувства, искусства. Ему предписано ставить свое существование в зависимость от профессии, а не наоборот.

Людям удастся приноровиться к этому предписанию путем сублимации, которая преобразует эгоистические, чувственные стремления в стремления интеллектуального, практического или этического порядка. И именно от этих последних они ждут полного удовлетворения, подобно тому, как художник, который все свое существование посвящает созданию своего произведения, как исследователь, живущий лишь надеждой открытия, как борец, посвятивший себя какому-то делу. Таким образом, речь идет о человеке, полностью увлеченном одной единственной идеей и абсолютно поглощенном одной задачей, исключаяющей все остальное.

Фрейд подчеркнул значение сублимации, о которой пишет: «Никакая другая техника жизненного поведения не привязывает индивида прочнее к реальности, или, по крайней мере к той части ре-

альности, которую составляет общество и к которой нас неотвратимо влечет готовность доказывать значимость труда. Возможность переноса нарциссических, агрессивных и даже эротических составляющих либидо в профессиональную деятельность и в социальные отношения, которые она в себе заключает, придает этой последней значение, которое ни в чем не уступит значению факта ее необходимости для индивида, чтобы поддерживать и оправдывать свое существование в лоне общества».

Этот замечательный отрывок заставляет нас предположить, что это происходит и в пуританских сектах, и в культуре капиталистических предпринимателей. Так как, если уж идти до конца, они тоже и в особенности должны жертвовать той радостью, что доставляют общественные отношения, в которые они вложили свои личные инстинкты и общественные побуждения. Таков метод протестантизма: сублимация ради сублимации. Следовательно, все остальное — развлечения, беседы с друзьями, семейные радости — все это превращается в искушения высших сил зла. Во избежание этого протестантская этика требует от человека изоляции от себе подобных, либо чтобы отдаться профессиональному «призванию», либо чтобы причаститься — так баптисты и квакеры были убеждены, что входят в прямой контакт с божеством.

Когда наши науки говорят, что люди живут в обществе, чтобы работать, защищаться, максимизировать свою полезность, выживать, а не для того, чтобы общаться и быть счастливыми вместе, они современным языком выражают этику высшего зла. Во всяком случае, Раймон Арон великолепно описывает последствия этого: «Это психологическое следст-

вие теологии благоприятствует индивидуализму. Каждый одинок перед лицом Бога. Смысл единения с близким и становления по отношению к другим ослабляется». Я не мог бы сказать, что он ослабляется. Но, несомненно, он сочетает коллективное подчинение с личной инициативой, которые совместно стремятся к самому высокому пределу.

\* \* \*

Итак, именно коллективная сублимация позволяет преобразовать постоянное одиночество в мотивацию служения профессиональному преуспеванию, более сильную, чем объединение с другими. Она объясняет то, что происходит, когда «дух капитализма» проявляет себя, и облегчает его реализацию.

Однако мы скользим по поверхности, говоря, что сублимация приводит к очищению, преобразованию инстинктивных и социальных стремлений индивидов для адаптирования их к какой-то высокой и плодотворной деятельности. Мы глубже проникнем в действительность, если признаем также и существование некоего особенного чувства: делать испытание из самых обычных и естественных вещей, которые нас окружают. В своем философском исследовании о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного Э. Берк так писал об этом: «Все, что каким-либо образом способно вызвать представления о страдании и опасности, то есть все, что с какой-либо стороны страшно, либо затрагивает страшные темы, либо действует страшным, доходящим до ужаса образом, есть источник возвышенного, то есть вызывает самое сильное волнение, которое сознание способно воспринять».

Без сомнения, одиночество является наиболее завершенной формой современного отказа от всякой радости в отношениях с другим и, следовательно, именно здесь потребность в ней утверждается наиболее явным образом. Именно поэтому, как мне кажется, коллективная сублимация придает смысл проявлениям, которые Вебер приписывает распространению духа капитализма. Сублимация является коллективной не только потому, что она требует сотрудничества всех, но и потому, что она изменяет объект. Допустив перенос инстинктивных составляющих индивида на общество, она подразумевает теперь отказ и от самого общества в пользу чисто экономической деятельности.

Итак, истинное завершение этой сублимации, ее видимое воплощение представляет собой эгоистический интерес, возведенный в добродетель. Таким же образом пуританин с религиозной точки зрения оценивает себя через свой неустанный труд. Менее всего в профессиональной сфере ему предписаны чувства дружбы и верности, даже милосердия. В результате странного поворота отсюда вытекает «опустошение веры» с проникновением в профессиональную сферу, отодвигающее в сторону христианские ценности. «К примеру, — указывает Вебер, — оно особенно проявляется в английской пуританской литературе в виде примечательно часто встречающихся предостережений против веры во взаимопомощь, в человеческую дружбу. Даже сам добрый Бакстер советует не доверять самому близкому другу, а Бейли в соответствующих выражениях рекомендует не верить никому, никому не поверять ничего, что могло бы скомпрометировать. Единственно возможное доверенное лицо это Бог».

Несомненно, христианская религия хочет видеть себя религией любви. И протестант как добрый христианин повторяет: «Возлюби ближнего своего как самого себя», но понимает это наоборот, любя себя самого как своего ближнего. То есть любит очень слабо, подспудно питая сильную ненависть, как питают ее к своему ближнему, который может быть врагом, католиком, заклеянным званием паписта, чужим по отношению к секте или же конкурентом в профессиональной деятельности.

Помимо этого, само собой разумеется, очень важен расчет, то количество любви, которое каждый должен дать или получить. И которое подчеркнуто выражается временем или деньгами, короче говоря, филантропией. Культ любви, не адресованный никому, угоден Богу и «приобретает абсолютно объективный, безличный вид эффективного служения в интересах рациональной организации социального универсума, который нас окружает».

Глубокое безразличие по отношению к ближнему, доходящее иногда до презрения, таково условие, благоприятствующее экономическому соперничеству и индивидуальному преуспеянию. Предприниматель не стеснен ни семейной, ни потомственной солидарностью, ни лояльностью по отношению к единоверцам. Связанный принадлежностью к секте или конгрегации, вне ее каждый волен отделиться и идти к своей собственной цели. Под действием непоколебимого убеждения он избегает удовлетворения которое приносят отношения с другими, человеческий мир. И он отворачивается от них, чтобы предпочесть довольство, проистекающее из отношений с миром вещей.

Это объясняет, почему тема одиночества находит свое высшее выражение в литературе Соединенных Штатов Америки. Ни благословение, ни проклятие не должны быть предметом искания или избегания, американцы видят в них просто судьбу человека. Здесь, несомненно, кроется один из источников той расчетливой и внешне гостеприимной общительности, на фоне безразличия, которые можно встретить еще в наши дни в странах протестантской традиции. Она позволяет поддерживать социальные отношения, не принимающие во внимание личностной уникальности. Личности ранжируются по общим категориям, согласно заранее предусмотренным нормам. Эта манера заранее избегать всякого риска быть счастливым, который предполагается совместной жизнью, приводит сознание человека в соответствие с реальностями экономики. Более того, это обеспечивает объективный способ повышения роли государственной и предпринимательской бюрократии, которая тем больше будет сама собой, чем лучше она реализует особое качество, которое считается ее добродетелью, а именно, исключение при выполнении общественных функций ненависти и всех личных эмоциональных компонентов, особенно всех тех иррациональных элементов, которые невозможно было бы предвидеть.

По мере того, как эта практика распространяется и торжествует, обязывая человека жить в согласии со своим разумом, она, в конце концов, удаляет Бога и делает его посторонним этому миру. Подобно тому как земля вращается и камнеет, хотя мы этого не осознаем, так и мир, а в результате и общество, которое построили протестанты, отверну-

лось, без их ведома, от божества, обитавшего в нем. А заодно и от страсти, и от этической благодати, от личной веры, которые создали современность. А потом покинули ее...

### **Война всех против всех**

Когда социолог обращается к нашему обществу, им овладевают два ощущения: уныние и безразличие. Как говорится, оседлав историю, начиная с Ренессанса, современность разоряет Европейский континент своей промышленностью, разрывая связи, которые удерживали нас вместе. Только личность выживает в крахе религий, в распаде старинных обществ: племени, греческих городов, Римской республики, средневековых цехов и так далее. Сознание этой утраты и ностальгия по тому, что было утрачено, живут в наших воззрениях на общество от Руссо до Маркса.

Это действительно так, поскольку именно личность является наследницей этих потопленных обществ, настоящих Атлантид памяти, разрушительницей которых она, похоже, и была. На ум тотчас же приходит имя Огюста Конта, который считал, что это «болезнь западного мира». Болезнь, неотделимая от беспорядочности и инакомыслия, которые день изо дня терзают тело общества. К этому можно прибавить имена Токвиля, Бональда и Ницше, придерживавшихся того же мнения. Пессимизм последнего предстает во всей своей полноте, когда он заявляет, что «человек поздних цивилизаций и клонящегося к упадку просвещения скорее всего будет немощной личностью».

Дюркгейм диагностирует в современном обществе скрытое недомогание, требующее лекарства. Он обнаруживает это неблагополучие в «потоках депрессии и разочарования, которые исходят не от каждой личности в отдельности, а выражают состояние распада там, где есть общество. Они проявляют себя в ослаблении общественных связей, это своего рода коллективная астения, социальная тревога, как и у отдельного человека уныние, когда оно приобретает хронический характер, может служить своего рода признаком органического заболевания».

Обескровленный одиночеством, оторванный от себе подобных, лишенный коллективной энергии, современный человек подобен тому Аврааму, которого в юности изобразил Гегель. Он покинул землю своих отцов, разорвал жизненные узы, и теперь он не более чем «чужак на земле».

Эти депрессия и разочарованность были, наверное, единственным, что присовокупила наша цивилизация к человеческим бедам. Она оставляет человека на растерзание собственным желаниям, одержимого страстями, которых он не может удовлетворить, и заставляет желать невозможного. Желанию, по его природе, свойственно никогда не исполняться, а его предмет кажется удаляющимся по мере приближения к нему, как линия горизонта, убегающая перед кораблем.

Этот поиск наслаждения, еще более безнадежный, чем поиски Грааля, восстанавливает каждого против каждого и против самого себя. Он истощает и деморализует личность, обреченную узнать лишь неудовлетворенные страсти и преследовать бессмысленные цели. «Вот почему, — отмечает Дюркгейм, — такие эпохи, как наша, которые содержат в себе бесконечные беды, по необходимости стано-

вятся грустными. Пессимизм всегда сопровождает безграничные устремления. Литературный персонаж, который может рассматриваться как воплощение именно этого ощущения безграничности, — Фауст Гете. Разве безосновательно поэт нам описал его, как терзаемого вечной мукой».

\* \* \*

С другой стороны, общества не составить из просто перемешанных между собой индивидов, так же как не получить материи, смешивая атомы. Необходимо нечто большее, чтобы преодолеть эту «страстную и непомерную любовь к самому себе, приводящую человека к тому, чтобы все соотносить только с самим собой и всему предпочитать себя», одним словом, эгоизм.

Замкнутые в круге эгоистических интересов, люди ввязываются в противостояние и беспощадное соперничество, похожее на войну всех против всех. Более или менее осознанно, более или менее обдуманно они постоянно существуют на грани отклонения и с риском извратить ценности. «Если аномия<sup>1</sup> это зло, — пишет Дюркгейм, — то прежде всего потому, что им страдает общество, не имея возможности обходиться без единения и упорядоченности». Примечательно, что изучая современную аномию, он в качестве примера взял самоубийство.

Разумеется, выбор Дюркгейма продиктован ображениями теории и метода. Он мог бы показать нам узко позитивистским, как и когорте биогра-

фов Дюркгейма, если бы в нем не просматривался глубокий смысл. Самоубийство, посредством которого мы добровольно расстаемся со своими близкими, является одной из фигур мифа на Западе. Торжествующий человек, будучи хозяином своей судьбы, оказывается в небытии бесконечных желаний и утраты смысла. На его счет можно отнести фразу французского социолога Гобино: «Существует работа, затем любовь, а затем ничего». Покинутый, как ребенок без матери, человек отказывается от жизни, совершая поступок, который ничего не предотвращает и не останавливает. И на который каждый смотрит, не выражая ни порицания, ни одобрения, как смотрят на вещи, происходящие каждый день в свое время. Безразличный к другим, он гибнет в среде их безразличия.

Осознавал ли это сам Дюркгейм? Воспринял ли он из духа времени то убеждение, которое Бальзак выразил несколькими превосходными словами в предисловии к философскому этюду «Шагреновая кожа». «По мере того, как человек цивилизуется, он убивает себя; и эта бьющая в глаза агония обществ представляет глубокий интерес».

В любом случае, Дюркгейм делает из самоубийства символ жертвы в современном обществе, которое осуждает тех, кого оно призвано спасти. Символ, кроме того, участи человека, одерживающего в войне, что он ведет с самим собой и с себе подобными, единственную победу: над своим собственным существованием...

---

<sup>1</sup> А н о м и я (от фр. *anomie* — беззаконие) — такое состояние общества, в котором значительная часть его членов, зная о существовании обязывающих их норм, относится к ним негативно или равнодушно. — Примеч. ред.

## Часть 2

### МОНСТР ВЛАСТИ

ДРУЖЕСТВЕННО-БЕЗВРЕДНОЕ — СНАРУЖИ,  
ВРАЖДЕБНО-СМЕРТЕЛЬНОЕ — ВНУТРИ<sup>1</sup>

#### Переживший других

Миг, когда ты пережил других, — это миг власти. Ужас перед лицом смерти переходит в удовлетворение от того, что сам ты не мертвец. Мертвец лежит, переживший его стоит. Как будто прошла битва и ты сам победил тех, кто мертв. Когда речь идет о выживании, каждый враг другого, по сравнению с этим изначальным торжеством всякая боль ничтожна. При этом важно, что выживший один противостоит одному или многим мертвым. Он видит себя одного, он чувствует себя одного, и если говорить о власти, которую даст ему этот миг, то нельзя забывать, что она порождается его единственностью, и только ею.

Все мечты человека о бессмертии содержат в себе что-то от желания пережить других. Хочется не только быть всегда, хочется быть тогда, когда других больше не будет. Каждый хочет стать старше других и знать это, а когда его самого не будет, — пусть скажет об этом его имя.

<sup>1</sup> Из книги Э. Канетти «Масса и власть». Перевод с немецкого Р. Каралашвили, Л. Ионина.

Самая низшая форма выживания — это умерщвление. Как умерщвляют животное, чтобы употребить его в пищу, когда оно беззащитно лежит перед тобой и можно разрезать его на куски, разделить, как добычу, которую проглотишь ты и твои близкие, так хочется убить и человека, который оказался у тебя на пути, который тебе противодействует, стоит перед тобой прямо, как враг. Хочется повергнуть его, чтобы почувствовать, что ты еще тут, а его уже нет. Но он не должен исчезнуть совсем, его телесное присутствие в виде трупа необходимо для этого чувства триумфа. Теперь можно делать с ним что угодно, а он тебе совсем ничего не сделает. Он лежит, он навсегда останется лежать, он никогда уже не поднимется. Можно забрать у него оружие; можно вырезать части его тела и сохранить навсегда, как трофей. Этот миг конфронтации с убитым наполняет оставшегося в живых силой особого рода, которую не сравнить ни с каким другим видом силы. Нет другого мгновения, которое так хотелось бы повторить.

Ибо переживший других знает о многих мертвецах. Если он участвовал в битве, он видел, как падали вокруг него другие. Он отправлялся на битву специально, чтобы утвердить себя, увидев поверженных врагов. Он заранее поставил себе целью убить их как можно больше, и победить он может, лишь если это ему удастся. Победа и выживание для него совпадают. Но и победители должны платить свою цену. Среди мертвых много и их людей. На поле битвы вперемешку лежат друг и враг, общая груда мертвецов. Нередко в битвах бывает так, что враждовавших покойников нельзя разделить: одной массовой могиле суждено объединить их останки.



\* \* \*

Оставшийся в живых противостоит этой груде павших как счастливчик и привилегированный. Тот факт, что он все еще жив, а такое множество других, только что бывших рядом, нет, сам по себе потрясает. Беспомощно лежат мертвецы, среди них стоит он, живой, и впечатление такое, будто битва происходила именно для того, чтобы он их пережил. Смерть обошла его стороной и настигла других. Не то чтобы он избегал опасности. Он, как и его друзья, готов был встретить смерть. Они пали. Он стоит и торжествует.

Это чувство превосходства над мертвыми знакомо каждому, кто участвовал в войнах. Оно может быть скрыто скорбью о товарищах; но товарищей немного, мертвых же всегда много. Чувство силы от того, что ты стоишь перед ними живой, в сущности, сильнее всякой скорби, это чувство избранности среди многих, кого так сравнивала судьба. Каким-то образом чувствуешь себя лучшим потому, что ты еще тут. Ты утвердил себя, поскольку ты жив. Ты утвердил себя среди многих, поскольку все, кто лежит, уже не живут. Кому пережить таким образом других удается часто, тот герой. Он сильнее. В нем больше жизни. Высшие силы благосклонны к нему.

### **Выживание и неуязвимость**

Человеческое тело голо и уязвимо; в своей мягкости оно открыто любому нападению. То, чего человек с трудом и всяческими ухищрениями не до-

пускает до себя на близком расстоянии, может легко настичь его издали. В него могут вонзиться копье и стрела. Он изобрел щит и доспехи, построил вокруг себя стены и целые крепости. Но главная цель всех его предохранительных мер чувство неуязвимости.

Достичь его он пытался двумя различными путями. Они прямо противоположны друг другу, а потому и весьма различны их результаты. С одной стороны, он старался отдалить от себя опасность, отделиться от нее пространствами большими, но обозримыми, которые можно было бы охранять. Он, так сказать, прятался от опасности, и он отгонял опасность.

Но больше всего отвечал его гордости другой путь. Во всех древних текстах полно хвастовства и самовосхвалений такого рода: человек сообщает, что он искал опасности и подвергал себя ей. Он подпускал ее к себе как можно ближе и рисковал всем. Из всех возможных ситуаций он выбирал ту, где было больше всего уязвим, и обострял ее до крайности. Он кого-то сделал своим врагом и вызвал его на бой. Возможно, это уже и прежде был его враг, возможно, он только сейчас его объявил врагом. Как бы там ни было, он сознательно выбирал путь высшей опасности и не старался оттягивать решение.

Это путь героя. Чего хочет герой? На что он в действительности нацелен? Слава, которой все народы окружают своих героев, стойкая, непреходящая слава, если их деяния разнообразны или достаточно часто повторяются, может обмануть относительно более глубоких мотивов этих деяний. Предполагается, что лишь слава их и интересует, но я думаю, в основе здесь лежит нечто совсем другое: возможность быстрее всего обеспечить себе таким образом чувство неуязвимости.

Конкретная ситуация, в которой оказывается герой после испытанной опасности, это ситуация пережившего других. Враг покушался на его жизнь, как он на жизнь врага. С этой ясной и твердой целью они выступили друг против друга. Враг повержен. С героем же во время борьбы ничего не случилось. Переполненный необычайным чувством этого превосходства, он бросается в следующую битву. Ему было все нипочем, ему будет все нипочем. От победы к победе, от одного мертвого врага к другому он чувствует себя все уверенней: возрастает его неуязвимость, а значит, надежней становятся его доспехи.

Чувство такой неуязвимости нельзя добыть иначе. Кто отогнал опасность, кто от нее укрылся, тот просто отодвинул решение. Но кто принял решение, кто действительно пережил других, кто вновь утвердился, кто множит эпизоды своего превосходства над убитыми, тот может достичь чувства неуязвимости. В сущности, он лишь тогда герой, когда этого добивается. Теперь он готов на все, ему нечего бояться. Возможно, мы больше бы восхищались им, если бы ему еще было чего бояться. Но это взгляд постороннего наблюдателя. Народ хочет неуязвимого героя.

\* \* \*

Однако деяния героя отнюдь не исчерпываются поединком, которого он сам искал. Ему может встретиться целое скопище врагов, и если он тем не менее их атакует, если он не только не избегает их, но всех их убивает, это может мгновенно породить в нем чувство собственной неуязвимости.

Один из самых давних и верных друзей спросил как-то Чингисхана: «Ты повелитель, и тебя называ-

ют героем. Какими знаками завоевания и победы отмечена твоя рука?» Чингисхан ответил ему: «Перед тем, как взойти на царство, я скакал однажды по дороге и натолкнулся на шестерых, которые поджидали меня в засаде у моста, чтобы лишить меня жизни. Приблизившись, я вынул свой меч и напал на них. Они осыпали меня градом стрел, но все стрелы пролетели мимо, и ни одна меня не тронула. Я перебил их всех своим мечом и невредимый поскакал дальше. На обратном пути я вновь скакал мимо места, где убил этих шестерых. Шесть их лошадей бродили без хозяев. Я привел всех лошадей к себе домой».

Эту неуязвимость в борьбе против шестерых врагов одновременно Чингисхан считает верным знаком завоевания и победы.

### **Стремление пережить других как страсть**

Удовлетворение от того, что удалось пережить других, своего рода наслаждение, может перейти в опасную и ненасытную страсть. Она растет при каждом новом случае. Чем больше гряда мертвых, перед которой ты стоишь живой, чем чаще видишь такие груды, тем сильнее и настоятельней потребность повторить это переживание. Карьеры героев и наемников свидетельствуют о том, что здесь возникает своего рода наркомания, от которой ничто не избавляет. Обычное объяснение, которое дается в таких случаях, гласит: такие люди способны дышать лишь воздухом опасности; безопасное существование для них тускло и пусто; мирная жизнь уже неспособна доставить им никакого удовольствия. Опасность обладает притягательной силой, это-

го не следует недооценивать. Но нельзя и забывать, что эти люди выходят навстречу своим приключениям не в одиночку, вместе с ними подвергаются опасности и другие. Что им действительно нужно, без чего они уже не могут обойтись, так это возобновляющееся вновь и вновь наслаждение от того, что ты пережил других.

Дело также и не в том, что для удовлетворения этой потребности надо вновь и вновь подвергать опасности самого себя. Ради победы на полях сражений действует несметное множество людей, и если ты их предводитель, если ты контролируешь их движения, если ты лично принял решение о битве, можно присвоить и ее результат, за который несешь ответственность, с кожей и волосами всех трупов. Полководец не случайно носит свое гордое имя. Он повелевает, он посылает своих людей против врага на смерть. Если он побеждает, ему принадлежит все поле битвы, усеянное мертвецами. Одни пали за него, другие против него. От победы к победе он переживает их всех. Триумфы, которые он празднует, наиболее полно соответствуют его стремлениям. Их значение измеряется числом мертвых. Этот успех достоин усмешки, даже если враг храбро защищался, даже если победа далась тяжело и стоила множества жертв.

«Цезарь превзошел всех героев и полководцев тем, что он провел больше всех битв и уложил больше всех врагов. Ибо за те неполные десять лет, что шла война в Галлии, он взял штурмом более 800 городов, покорил 300 народностей, сражался в общей сложности с тремя миллионами людей, и миллион из этого числа убил в боях, а еще столько же взял в плен»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Цезарь, гл. 15.

Так пишет Плутарх, один из самых гуманных умов в истории человечества, которого нельзя упрекнуть ни в воинственности, ни в кровожадности. Это суждение особенно ценно потому, что в нем так заостряется итог. Цезарь сражался против трех миллионов, один миллион убил, один взял в плен. Позднейшие полководцы, монголы и немонголы, его превзошли. Но это античное суждение примечательно еще и той наивностью, с какой все происходившее приписывалось одному полководцу. Взятые штурмом города, покоренные народы, миллионы поверженных, убитых, плененных врагов — все это принадлежало Цезарю. Тут нашла выражение не наивность Плутарха, а наивность истории. Это привычно со времен военных сообщений египетских фараонов; и здесь едва ли что изменилось до наших дней.

\* \* \*

Итак, Цезарь счастливо пережил великое множество врагов. В таких случаях считается бестактным подсчитывать собственные потери. Они известны, но их не ставят в упрек великому человеку. В войнах Цезаря их, по сравнению с числом поверженных врагов, было не так уж и много. И все-таки он пережил еще несколько тысяч союзников и римлян, с этой точки зрения он тоже вышел не совсем с пустыми руками.

Эти гордые итоги передавались от поколения к поколению; у каждого находились свои потенциальные герои-воины. Их страстное стремление пережить массы людей распалялось, таким образом, до безумия. Приговор истории как будто оправдывает их замысел еще до того, как им удастся его осу-

ществить. Наиболее изощренные в этом умении пережить других обретают в ней самое величественное и надежное место. Для такого рода посмертной славы чудовищное число жертв в конце концов важнее, чем победа или поражение. Еще неизвестно, что в самом деле творилось в душе у Наполеона во время русского похода.

### **Властитель как переживший других**

Параноическим типом властителя можно назвать такого, который любыми средствами стремится избавиться себя от опасности. Вместо того чтобы бросить вызов и выступить против нее, вместо того чтобы в борьбе с ней прийти к какому-то результату, пусть он даже окажется и неблагоприятным, он старается преградить ей путь хитростью и осторожностью. Он создает вокруг себя свободное, хорошо обозримое пространство, чтобы заметить любой знак ее приближения и принять нужные меры. Так, он будет озираться по сторонам, поскольку сознание, что ему грозит множество врагов, которые могут выступить против него все одновременно, заставляет бояться окружения. Опасность грозит отовсюду, не только спереди. Она даже больше за его спиной, где он не может увидеть ее достаточно быстро. Поэтому он оглядывается, прислушивается даже к самому тихому шороху, ибо за ним может крыться враждебный умысел.

Воплощение всех опасностей это, конечно, смерть. Важно знать точно, откуда ее можно ждать. Первый и решающий признак властителя — это его право распоряжаться жизнью и смертью. К нему ни-

кто не вправе приблизиться; кто явится к нему с известием, кто должен к нему подойти, того необходимо обыскать, ведь он может быть вооружен. Смерть старательно отдалается от него: он сам может и должен ею распоряжаться. Вынесенный им смертный приговор всегда исполняется. Это знак его власти; она абсолютна лишь до тех пор, пока остается неоспоримым его право приговаривать к смерти.

Ибо по-настоящему подвластен ему лишь тот, кого он может послать на смерть. Именно к этому сводится при необходимости последнее испытание покорности. Солдаты воспитываются в двоякого рода готовности: их посылают убивать его врагов, и они сами готовы принять за него смерть. Но не только солдаты, все другие его подданные также знают, что в любой момент от него зависит их жизнь или смерть. Страх, который он внушает, одно из его свойств; этот страх его право, и за это право его больше всего почитают. Поклонение ему принимает самые крайние формы. Так сам Господь Бог держит в своих руках смертный приговор всем живущим и тем, кто еще будет жить. От его прихоти зависит, когда он будет приведен в исполнение. Протестовать никому не приходит в голову, это бесполезно.

Однако земным властителям не так просто, как Господу. Они не вечны; их подданные знают, что их дни тоже сочтены. И конец этих дней можно даже ускорить. Как всегда, это делается с помощью насилия. Кто перестал повиноваться, тот решается на борьбу. Ни один властитель не может быть раз и навсегда уверен в покорности своих людей. Покуда они позволяют ему себя убивать, он может спать спокойно. Но едва кому-то удастся избежать приговора, властитель оказывается в опасности.

Чувство этой опасности никогда не покидает обладателя власти. Позднее, когда речь пойдет о природе приказа, будет показано, что его страхи должны становиться тем сильнее, чем больше его приказов выполнено. Он может успокоить их, лишь преподав урок. Ему нужна будет казнь ради самой казни, даже если жертва не так уж виновата. Время от времени ему придется повторять казни, тем чаще, чем быстрее растут его сомнения. Самые надежные, можно сказать, самые желанные его подданные это те, кто посланы им на смерть.

Ибо каждая казнь, за которую он ответствен, прибавляет ему немного силы. Это сила пережившего других, которой он таким образом набирается. Его жертвы вовсе не собирались на самом деле выступить против него, но они могли бы это сделать. Его страх превращает их может быть, только задним числом во врагов, которые против него боролись. Он их осудил, они побеждены, он их пережил. Право выносить смертные приговоры в его руках становится оружием наподобие любого другого, только гораздо действенней. Варварские и восточные властители нередко очень любили собирать свои жертвы где-нибудь возле себя, так, чтобы они всегда были перед глазами. Но и там, где обычаи этого не позволяли, властители все-таки подумывали, как бы такое сделать. Зловещую забаву в подобном духе устроил, как рассказывают, римский император Домициан. Пир, который он придумал и подобного которому наверняка никогда больше не было, дает самое наглядное представление о глубинной сути параноического властителя. Вот что сообщает об этом Кассий Дио:

«В другой раз Домициан поступил с благороднейшими сенаторами и всадниками следующим образом. Он оборудовал зал, в котором потолки, стены и полы были совершенно черными, и приготовил непокрытые лежа такого же цвета, которые находились на голом полу. Гостей к себе он пригласил ночью и без сопровождающих. Возле каждого он велел сначала поставить пластинку в форме надгробия с именем гостя, тут же был и маленький светильник, какие висят в склепах. Затем в зал вошли хорошо сложенные нагие мальчики, тоже раскрашенные черным, словно призраки. Они совершили вокруг гостей зловещий танец, после чего расположились у их ног. Затем гостям были предложены угощения, какие обычно приносят в жертву духам умерших, сплошь черные на блюдах того же цвета. Гости же дрожали от страха, ожидая, что в следующий миг им перережут горло. Все, кроме Домициана, онемели. Царила мертвая тишина, как будто они уже находились в царстве мертвых. Император же принялся громко рассуждать о смерти и об убийствах. Наконец он их отпустил. Но сперва он удалил их рабов, которые их ждали в передней. Он поручил гостей другим рабам, им незнакомым, и велел препроводить их в повозки или носилки. Таким образом он внушил им еще больше страха. Едва гости оказались у себя дома и перевели дух, как к каждому стали являться посыльные императора. Теперь каждый из них был уверен, что тут-то и настал его последний час. Между тем один из них принес пластинку из серебра. Другие пришли с разными предметами, среди них блюда из драгоценного материала, которые подавались во время еды. Наконец у каждого из гостей появился

мальчик, прислуживавший ему как его особый дух, но теперь вымытый и украшенный. После ночи, проведенной в смертельном страхе, теперь они получали подарки»<sup>1</sup>.

\* \* \*

Таков был «Пир покойников» у Домициана, как это назвал народ. Непрерывный страх, в каком он держал своих гостей, заставил их замолкнуть. Говорил только он, и он говорил про смерть и умерщвление. Казалось, будто они мертвы, а он один еще жив. На это угощение он собрал всех своих жертв, ибо именно жертвами они должны были себя чувствовать. Наряженный, как хозяин, но на самом деле словно переживший их, он обращался к своим жертвам, наряженным гостями. Ситуация подчеркивалась не только количеством тех, кого он пережил, в ней была особая утонченность. Хотя они были как будто мертвы, он мог в любой момент умертвить их на самом деле. В сущности, так был начат процесс, позволявший ему пережить других. Отпуская этих людей, он их милует. Еще раз он заставляет их дрожать, поручая чужим рабам. Они добираются до дому — он вновь посылает к ним вестников смерти. Они приносят им подарки, в том числе самый большой — жизнь. Он может, так сказать, послать их из жизни в смерть, а затем опять возвращать из смерти в жизнь. Этой игрой забавляется он не раз. Она дает ему высшее чувство власти — выше уже не придумаешь.

<sup>1</sup> Dio. Romische Geschichte. Epitome von Buch LXVII, Cap. 9.

## Насилие и власть

С насилием связано представление о чем-то близком и теперешнем. В нем больше принуждения, и оно более непосредственно, чем власть. Подчеркнуто говорят о физическом насилии. Самые низкие и самые животные проявления власти лучше назвать насилием. Насильно хватают добычу и насильно отправляют ее в рот. Если для насилия есть достаточно времени, оно становится властью. Но в миг, когда ситуация потом все-таки обостряется, когда надо принять решение и пути назад уже нет, она вновь оказывается чистым насилием. Власть понятие более общее и более широкое, чем насилие; она гораздо содержательней и не так динамична. Она более обстоятельна, даже по-своему терпелива. Само немецкое слово «Macht» происходит от древнего готского корня «magan», что значит «мочь, иметь возможность», и никак не связано с корнем «machen» — «делать».

Разницу между насилием и властью можно продемонстрировать на очень простом примере на отношении между кошкой и мышью. Мышь, схваченная однажды, подверглась со стороны кошки насилию. Та поймала ее, держит и собирается умертвить. Но как только она начинает с нею играть, возникает нечто новое. Она отпускает ее, позволяя чуть-чуть отбежать. Стоит же мыши повернуться к кошке хвостом и побежать, как она уже оказывается вне сферы ее насилия. Но во власти кошки настичь мышь. Если она позволит ей убежать совсем, та покинет и сферу ее власти. Однако, покуда кошка наверняка может достать мышь, та остается в ее власти. Про-

странство, которым распоряжается кошка, мгновения надежды, которые она даст мыши, но под строжайшим надзором, не теряя интереса к ней и к ее умерщвлению, все это вместе: пространство, надежда, надзор и заинтересованность в умерщвлении можно назвать сущностью власти или просто самой властью.

Таким образом, власти в противоположность насилию присуща несколько большая широта, у нее больше и пространства, и времени. Можно сказать, что тюрьма похожа на пасть: отношение между ними — это отношение между властью и насилием. В пасти уже не остается подлинной надежды, для жертвы здесь нет уже ни времени, ни пространства. И в том и в другом отношении тюрьма как бы расширенная пасть. Можно сделать несколько шагов туда-сюда, как мышь под надзором кота, то и дело чувствуя на спине взгляд надзирателя. Есть еще время и есть надежда за это время бежать или получить свободу, при этом всегда чувствуешь заинтересованность тех, в чьей власти ты находишься, в твоей гибели, даже если эта гибель как будто отсрочена.

\* \* \*

Но разницу между властью и насилием можно проследить и в совсем другой области, в многообразных оттенках религиозной преданности. Каждый верующий в Бога постоянно чувствует себя в божьей власти и должен с ней по-своему считаться. Но некоторым этого недостаточно. Они ждут открытого вмешательства, непосредственного акта божественного насилия, чтобы удостовериться в нем и ощутить его на себе. Они все время ждут приказа. Бог

для них имеет ярко выраженные черты повелителя. Его активная воля, их активное подчинение в каждом отдельном случае, в каждом проявлении составляют для них суть веры. Религии такого рода склонны подчеркивать роль божественного предопределения, так что приверженцы их получают возможность воспринимать все, что с ними происходит, как непосредственное выражение божественной воли. Они всякий раз могут подчиняться ей, и так вплоть до самого конца. Как будто они уже живут во рту Господа, который в следующий миг их разжует. Однако в этом ужасном состоянии они должны бесстрашно жить дальше и действовать праведно.

Наиболее полно выражена эта тенденция в исламе и кальвинизме. Их приверженцы жаждут божественного насилия. Одной божьей власти им недостаточно, в ней есть что-то слишком общее, далекое, и она слишком много предоставляет им самим. Постоянное ожидание приказа решающим образом влияет на людей, раз и навсегда вручивших себя повелителю, и определяет их отношения с другими. Оно создает тип верующего-солдата, для которого наиболее точным выражением жизни является битва, который не страшится ее, потому что все время чувствует себя ее участником. Об этом типе более подробно будет сказано в связи с исследованием темы приказа.

## **Власть и скорость**

Скорость, о которой может идти речь в связи с проблемой власти, это скорость, позволяющая настигнуть и схватить. И в том и в другом случае образ-

цами для человека служили животные. Умению настигать он учился у быстро бегающих хищников, особенно у волка. Умению схватить, внезапно прыгнуть его могли научить кошки; достойными зависти и восхищения в этом искусстве были лев, леопард и тигр. Хищные птицы соединяли оба умения: и настигать, и хватать. Когда хищная птица парит одиноко и не скрываясь, а потом издалека устремляется на добычу, мы наблюдаем этот процесс во всей яркости. Он подсказал человеку такое оружие, как стрела, давшая ему в руки на долгое время самую большую скорость: своей стрелой человек как бы устремляется к добыче.

Вот почему эти животные с давних времен служат и символами власти. Они олицетворяют собой богов, предков властителей. Волк был предком Чингисхана. Сокол-Гор божество египетского фараона. В африканских империях лев и леопард священные животные царских родов. Из пламени, на котором сжигалось тело римского императора, вылетал в небо орел как воплощение его души.

Но быстрее всех во все времена была молния. Суеверный страх перед молнией, от которой нет никакой защиты, распространен повсюду. Монголы, рассказывает францисканский монах Рубрук, посланный к ним Людовиком Святым, больше всего на свете боятся грома и молнии. В грозу они удаляют из своих юрт всех чужаков, сами закутываются в черный войлок и прячутся так, покуда она не пройдет. Персидский историк Рашид, находившийся у них на службе, сообщает, что монголы остерегаются есть мясо животного, пораженного молнией, более того, они боятся к нему приблизиться. Множество разнообразных запретов у монголов служит тому,

чтобы умиловить молнию. Рекомендуется избегать всего, что могло бы ее вызвать. Зачастую молния главное оружие самого могущественного бога.

Ее внезапная вспышка среди темноты действует как откровение. Молния настигает и озаряет. По ее особенностям люди пытаются судить о воле богов. Какой она имеет вид и в каком месте неба возникает? Откуда она берется? Куда направлена? У этрусков разгадкой этого занимался особый разряд жрецов, которые потом у римлян стали называться «фульгураторы».

«Власть повелителя, — говорится в одном древнем китайском тексте, — подобна молнии, хотя и уступает ей в мощи». Удивительно, как часто молния поражала властителей. Рассказы об этом не всегда бывают достоверны. Однако показательно уже само желание увидеть здесь связь. Известий такого рода много у римлян и у монголов. Для обоих народов характерна вера в верховного небесного бога, у обоих сильно развито представление о власти. Молния рассматривается здесь как сверхъестественное повеление. Она поражает того, кого должна поразить. Если она поражает властителя, значит, она послана властителем еще более могущественным. Она служит самой быстрой, самой внезапной, но при этом и самой наглядной карой.

В подражание ей человек создал и свое особое оружие огнестрельное. Вспышка и гром выстрела из ружья и особенно из пушки вызывали страх у народов, которым это оружие было неизвестно: оно воспринималось ими как молния.

И прежде люди всячески старались сделать себя быстрее животных. Приручение лошади и образование конницы в ее наиболее совершенной



форме привели к великому историческому прорыву с Востока. В каждом сообщении современников о монголах подчеркивалось, насколько они были быстры. Их появление всегда было неожиданным, они возникали так же внезапно, как исчезали, и вновь вырастали будто из-под земли. Даже поспешное бегство они могли обернуть атакой: стоило подумать, что они бежали, как ты уже оказывался ими окружен.

С тех пор физическая скорость как свойство власти всячески возрастало. Излишне останавливаться на ее проявлениях в наш технический век.

\* \* \*

Что касается хватания, то с ним связан особый вид быстроты — разоблачение. Перед тобой безобидное или покорное существо, но сдерни с него маску, и под ней окажется враг. Чтобы оказаться действенным, разоблачение должно быть внезапным. Такого рода скорость можно назвать драматической. Настигать приходится лишь в небольшом, ограниченном пространстве, здесь этот процесс сконцентрирован. Засада как средство маскировки известна с древности, ее противоположность — разоблачение. От маски к маске можно добиться решающих перемен в отношениях власти. Притворству врага противопоставляется собственное притворство. Властитель приглашает военных и гражданскую знать к себе на пир. Вдруг, когда они меньше всего ожидают враждебных действий, их всех убивают. Смена одного положения другим точно соответствует прыжку из засады. Быстрота процесса доведена до крайности; от нее одной зависит успех замысла. Властитель, хорошо знающий свое собственное постоянное

притворство, всегда может подозревать его и в других. Всякая быстрота, чтобы их опередить, кажется ему дозволенной и необходимой. Его мало трогает, если он набросится на невинного: в общей сущности масок можно и ошибиться. Но его глубоко заденет, если из-за промедления враг ускользнет.

### **Вопрос и ответ**

Всякий вопрос есть вторжение. Используемый как средство власти, он проникает словно нож в тело спрашиваемого. Известно, что там можно найти; но хочется непосредственно прикоснуться к найденному. С уверенностью хирурга кто-то добирается до твоих внутренних органов. Он поддерживает в своей жертве жизнь, чтобы побольше о ней узнать. Это хирург особого рода, он работает, сознательно вызывая местную боль. Он раздражает определенные части жертвы, чтобы достоверно узнать о других.

Вопросы рассчитаны на ответы: если ответа не следует, они подобны стрелам, пущенным в воздух. Самый невинный вопрос изолированный, не влекущий за собой других. Спрашиваешь незнакомого про какой-нибудь дом. Тот тебе его показывает. Ты удовлетворяешься этим ответом и идешь дальше своей дорогой. На какой-то миг ты задержал незнакомца. Ты заставил его что-то вспомнить. Чем ясней и убедительней его ответ, тем быстрее он освобождает человека. Он дал, что от него ожидали, и больше тебе с ним видеться незачем.

Но задавший вопрос может этим не удовлетвориться и начнет спрашивать дальше. Если вопросов становится слишком много, они скоро вызывают не-

удовольствие спрашиваемого. У него не просто отнимают время, с каждым ответом он еще немного раскрывает себя. Это может быть какой-нибудь пустяк, лежащий на поверхности, но незнакомец вытянул его из тебя насильно. И он связан с чем-то другим, более сокровенным и гораздо более для тебя важным.

Неудовольствие, которое ты ощущаешь, скоро перерастает в недоверие. Ибо с каждым вопросом у спрашивающего возрастает ощущение власти; это поощряет его расспрашивать все дальше и дальше. Отвечающий подчиняется тем больше, чем чаще он поддается вопросам. Свобода личности здесь в значительной мере связана с возможностью защищаться от вопросов. Самая сильная тирания та, что даст право задавать самые сильные вопросы.

Умен такой ответ, который кладет конец вопросам. Тот, кто может себе это позволить, задаст встречный вопрос; среди равных это испытанное средство защиты. Кому положение не позволяет задавать встречных вопросов, тот должен либо дать исчерпывающий ответ, выложив таким образом все, чего от него хочет другой, либо как-то хитро уклониться от дальнейшего проникновения. Он может польстить, признать физическое превосходство спрашивающего, так что у того не будет нужды самому его демонстрировать. Он может перевести разговор на другое, о чем спрашивать интереснее или выгоднее. Если он знает толк в притворстве, он может выдать себя не за того. Тогда вопрос, так сказать, переадресуется другому, он же сам объявляет себя некомпетентным, чтобы отвечать.

Если конечная цель вопросов расчленение, то первый вопрос подобен прикосновению. Прикасают-

ся затем ко многим и разным местам. Там, где оказывается меньше сопротивления, происходит внедрение. Извлеченное откладывают в сторону, чтобы пустить в дело потом; им не пользуются тотчас же. Надо сначала добраться до чего-то, определенного заранее. За вопросом всегда кроется хорошо осознанная цель. Неопределенные вопросы, вопросы ребенка или дурака, не имеют силы, от них легко отделаться.

Опаснее всего, когда требуются ответы краткие, сжатые. Тогда трудно, а то и вовсе невозможно убедительно притвориться или в нескольких словах выдать себя за другого. Самый грубый способ защиты прикинуться глухим или ничего не понимающим. Но это помогает только, если разговор ведется на равных. Вопрос сильного к слабому может быть поставлен письменно или переведен. Тогда ответ на него становится еще обязательней. Его можно подтвердить документально, и противник может на него сослаться.

\* \* \*

Человек, беззащитный внешне, может прикрыться доспехами внутренними: такими внутренними доспехами против вопроса является тайна. Она подобна второму, более защищенному телу, скрытому внутри первого; попытка приблизиться к ней чревата неприятными сюрпризами. Тайна выделена среди остального как нечто более плотное и укрыта мраком, осветить который дано лишь немногим. Всегда больше волнует исходящая от тайны угроза, чем собственно ее содержание. Самое важное, можно сказать, самое плотное в тайне — это недоступность вопросу.

От молчания вопрос отскакивает, как меч от щита. Полное молчание крайняя форма защиты, причем в ней столько же преимуществ, сколько и недостатков. Упорно молчащий человек ничего не выдаст, зато он производит впечатление более опасного, чем есть на самом деле. Начинают думать, что он знает не только то, о чем в действительности умалчивает. Раз он молчит, ему есть о чем умалчивать; тем важней не отпускать его. Упорное молчание ведет к мучительному допросу, к пытке.

Однако ответ всегда, в том числе и в обычных обстоятельствах, связывает человека. От него уже не так просто отказаться. Он закрепляет человека на определенной позиции и вынуждает на ней оставаться, тогда как спрашивающий может целиться повсюду; он, так сказать, ходит вокруг другого и выискивает, откуда его удобнее поразить. Он может зайти с одной стороны, с другой, застать врасплох, привести в замешательство. Перемена позиции дает ему своего рода свободу, которой другой лишен. Он атакует человека вопросом, и если удастся его задеть, то есть вынудить к ответу, тот уже связан и ему никуда не уйти. «Кто ты?» — «Я такой-то». Теперь человек уже не может быть никем другим, иначе его ложь поставит его в затруднительное положение. Он уже лишился возможности ускользнуть, выдав себя за другого. Этот процесс, если он продолжается некоторое время, можно рассматривать как своего рода связывание.

Первый вопрос выясняет личность, второй касается места. Поскольку оба предполагают языковое выражение, интересно посмотреть, мыслима ли архаичная ситуация, которая предшествовала бы словесному вопросу и ему соответствовала. Интерес к

месту и к личности здесь бы еще не разделялся — одно без другого не имело бы смысла. Такая архаичная ситуация нашлась: это пробное прикосновение к добыче. Кто ты? Можно ли тебя есть? Животное, непрерывно занятое поиском пищи, ощупывает и обнюхивает все, что находит. Оно сует свой нос во все: можно ли тебя есть? Каково ты на вкус? Ответом является запах, сопротивление, безжизненная неподвижность. Чужое тело обрело здесь для себя место, а обнюхивание и ощупывание означает знакомство с ним, в переводе на наши человеческие понятия: ему дают название.

По-видимому, на ранней стадии воспитания детей все больше нарастают, перекрещиваясь, два процесса; их роль неодинакова, тем не менее они тесно связаны. Если родители постоянно отдают приказы, категоричные и настойчивые, то и дети бесконечно спрашивают. Эти ранние детские вопросы подобны крику о пище, только в другой, более высокой форме. Они безобидны, ибо отнюдь не дают ребенку полного знания о родителях, чье превосходство остается непоколебимым.

С каких же вопросов начинает ребенок? Среди самых ранних вопросы о месте: «Где то-то и то-то?» Другие ранние вопросы: «Что это?» и «Кто это?». Можно видеть, какую роль уже играют место и идентификация. Это действительно первое, что интересует ребенка. Лишь потом, в конце третьего года, начинаются вопросы «Почему?», а еще гораздо позднее: «Когда?», «Как долго?» — вопросы о времени. Так продолжается до тех пор, пока у ребенка не сформируется точное представление о времени.

Начинаясь неуверенным прикосновением, вопрос, как уже было сказано, старается внедриться

дальше. В нем есть нечто разделяющее, он действует подобно ножу. Это чувствуется по сопротивлению, с каким младшие дети встречают двойные вопросы. «Что ты хочешь больше, яблоко или грушу?» Ребенок будет молчать или скажет «грушу», потому что это было последнее слово. Но действительное решение, разделение между яблоком и грушей, дается ему трудно; в сущности, он хотел бы того и другого.

Подлинной остроты разделение достигает там, где возможны лишь два простейших ответа, да или нет. Поскольку они часто противостоят друг другу, поскольку ничего промежуточного между ними не оставлено, решение того или другого рода оказывается особенно обязывающим и важным.

Пока не задашь человеку вопрос, зачастую не знаешь, что у него на уме. Вопрос вынуждает человека сделать выбор «за» или «против». Будучи вежливым и ненавязчивым, он предоставляет человеку решать.

В «Диалогах» Платона своего рода царем вопроса предстает Сократ. Он с презрением относится ко всем обычным видам власти и тщательно избегает всего, что о ней бы напоминало. Его превосходство в мудрости, которой может набраться у него всякий желающий. Однако чаще всего он проявляет ее не в связных речах, — он задает свои вопросы. Диалоги строятся так, что больше всего вопросов ставит он, причем эти вопросы самые важные. Так он овладевает своими слушателями, вынуждает их ко всевозможным разделениям. Господства над ними он достигает исключительно с помощью вопросов.

Важное значение имеют формы культуры, ограничивающие выпрашивание. Об определенных вещах нельзя спрашивать незнакомого. Если это все

же делают, то это воспринимается как насилие, вторжение; спрашиваемый вправе чувствовать себя уязвленным. Сдержанность же должна свидетельствовать об уважении к нему. С незнакомым ведут себя так, будто он сильнейший; эта форма лести побуждает и его вести себя так же. Лишь находясь на некоторой дистанции по отношению друг к другу, не угрожая друг другу вопросами, как будто все они сильны и сильны одинаково, люди чувствуют себя уверенно и настроены миролюбиво.

Чудовищный вопрос — это вопрос о будущем. Это, можно сказать, предел всех вопросов; в нем же больше всего и напряжения. Боги, к которым он обращен, не обязаны отвечать. Такой вопрос к сильнейшему — отчаянный вопрос. Боги ничем не связаны, в них никак нельзя внедряться дальше. Их выражения двусмысленны, разделению они не поддаются. Все вопросы к ним остаются первыми вопросами, на которые дастся только один ответ. Часто ответ состоит просто из знаков. Жрецы разных народов свели их в большие системы. До нас дошли тысячи таких вавилонских знаков. Бросается в глаза, что каждый из этих знаков обособлен от других. Они не вытекают один из другого, между ними нет никакой внутренней связи. Это просто списки знаков, не более, и даже тот, кто знает их все, может каждый раз лишь по каждому из них отдельно делать заключения о чем-то отдельном в будущем.

\* \* \*

В противоположность этому допрос призван восстановить прошлое, причем во всей совокупности происходившего. Он направлен против слабей-

шего. Но прежде чем рассмотреть, что такое допрос, имеет смысл сказать несколько слов об учреждении, существующем сейчас в большинстве стран, о всеобщем полицейском учете людей. Вырабатывается определенная группа вопросов, повсюду однотипных и в основном направленных на обеспечение порядка. Желательно знать, насколько кто-либо может быть опасен, и, если кто-то окажется опасным, желательно иметь возможность тотчас его схватить. Первый вопрос, который официально задается человеку, как его зовут, второй где он живет, адрес. Как мы уже знаем, это два древнейших вопроса, вопрос об идентификации и о месте. Следующий вопрос, о профессии, призван выяснить род его деятельности; наряду с возрастом это позволяет судить о влиянии и престиже человека: как к нему относиться? Семейное положение говорит о более узком круге его связей; поэтому важно: есть ли муж, жена или дети. Происхождение или национальность могут дать представление о его образе мыслей; сейчас, в эпоху фанатичного национализма, это более важный показатель, чем религиозная принадлежность, теряющая свое значение. В общем и целом вдобавок к фотографии и подписи установлено уже довольно много.

Ответы на такие вопросы принимаются. Поначалу их не подвергают сомнению. Лишь в ходе допроса, который преследует определенную цель, вопрос начинает звучать подозрительно. Тут складывается система вопросов, служащая для контроля ответов; теперь каждый ответ сам по себе может оказаться неверным. Допрашиваемый находится в состоянии вражды с допрашивающим. Будучи гораздо более слабым, он может ускользнуть, если сумеет уверить, что не является врагом.

Допрос в ходе судебного следствия еще более усиливает позицию спрашивающего как всезнающего. Дороги, по которым шел человек, дома, где он бывал, события, которые он пережил, как ему казалось тогда, свободно, в стороне от чьих-либо глаз, все вдруг, оказывается, можно проследить. По всем дорогам приходится пройти вновь, во все дома опять заглянуть, пока от былой невозвратимой свободы не останется самая малость. Судья должен как можно больше знать, прежде чем будет вправе вынести приговор. Всеведение значит для его власти особенно много. Чтобы его добиться, он имеет право задавать любые вопросы: «Где ты был? Когда ты там был? Что ты там делал?» Если ответы должны доказать алиби, место противопоставляется месту, личность личности. «Я был в это время в другом месте. Я не тот, кто это сделал».

«Однажды, рассказывается в одной вендской легенде, в полдень близ Дехсы на траве лежала юная девушка и спала. Рядом с ней сидел ее жених. Он думал, как бы ему избавиться от своей невесты. Тут подошла полуденная дева и стала задавать ему вопросы. Сколько бы он ни отвечал, она спрашивала его все дальше и дальше. Когда колокол пробил час, сердце его остановилось. Полуденная дева спрашивала его до смерти».

## **Тайна**

Тайна самая сердцевина власти. Акт выслеживания по своей природе тайный. Затаившись, существо становится неотличимо от окружения и не выдаст себя ни малейшим шевелением. Оно как бы це-

ликом исчезает, облекается тайной, словно чужой кожей, и надолго замирает в своем укрытии. В этом состоянии его отличает своеобразная смесь нетерпения и терпения. Чем дольше удастся его выдерживать, тем больше надежды на внезапную удачу. Но чтобы в конце концов что-то удалось, терпение существа должно быть бесконечным. Если оно выдаст себя хоть на мгновение раньше, все пойдет прахом, и, отягощенное разочарованием, оно должно будет начать все сначала.

Потом уже хватать можно открыто, потому что здесь должен действовать ко всему еще и страх, но когда начнется пожирание, все вновь окутывается тайной. Рот темен, желудок и кишки невидимы. Никто не знает и никто не задумывается, что там беспрестанно происходит у него внутри. Этот самый изначальный процесс пожирания в основном покрыт тайной. Он начинается с тайны, с сознательного и активного выслеживания, и в тайной тьме тела завершается неосознанно и пассивно. Лишь миг хватания ярко вспыхивает в промежутке, подобно молнии, ненадолго сам себя освещая.

Сокровеннейшая тайна то, что происходит внутри тела. Знахарь, силу которому даст знание телесных процессов, должен вытерпеть необычные операции на собственном теле, прежде чем будет допущен к своим занятиям.

У племени аранда в Австралии человек, желающий быть посвященным в знахари, отправляется к пещере, где обитают духи. Там ему вначале протыкают язык. Он остается совсем один, несмотря на то что очень боится духов. Способность выдержать одиночество, да еще именно в таком месте, где это особенно опасно, по-видимому является непременно

ным условием для этой профессии. Считается, что потом будущего знахаря убивают копьем, которое пронзает ему голову от уха до уха, и духи уносят его в свою пещеру, где живут как бы в своего рода потустороннем мире. Для нашего мира он просто потерял сознание, в потустороннем же мире у него тем временем изымают все внутренние органы и заменяют новыми. Надо думать, что эти органы лучше обычных, может быть, неуязвимее или, во всяком случае, меньше подвержены колдовским угрозам. Он приобретает таким образом силу для своей профессии, но если вникнуть, его новая власть начинается с его внутренностей. Он был мертв, прежде чем вступил в свои права, но эта смерть служит более совершенному наполнению его тела. Его тайна известна только ему и духам: она в его теле.

Примечательная черта — наличие у колдуна множества мелких кристаллов. Он носит их вокруг своего туловища, они неперенная принадлежность его профессии: усердные манипуляции с этими камешками совершаются при всяком действии с больным. Иногда колдун сам раздает такие камешки, затем вновь извлекает их из пораженных частей тела больного. Чужеродные, твердые частицы в теле оказываются причиной его страданий. Это как бы своеобразная валюта болезни, курс которой известен лишь колдуну.

Если не считать этих весьма интимных действий с больным, колдовство обычно совершается на расстоянии. Втайне изготавливаются всевозможные виды острых волшебных палочек, затем их издали направляют на жертву, которая, не подозревая об этом, оказывается поражена ужасным действием колдовства.

Здесь в ход идет тайна выслеживания. Выпущенные с дурными намерениями маленькие стрелы иногда можно увидеть на небе в виде комет. Сам акт совершается быстро, но его действия приходится иногда ждать некоторое время.

Индивидуальные колдовские действия с целью причинить зло доступны каждому аранда. Но защита от злых действий в руках одного лишь знахаря. Посвящение и практика дают им особые возможности защиты. Некоторые очень старые знахари могут навлекать напасть на целые группы людей. Так что существует как бы три степени власти. Тот, кто способен одновременно напустить болезнь на многих, — самый могущественный.

Немалый страх внушает колдовская сила чужаков, обитателей отдаленных мест. Вероятно, их боятся потому, что не так хорошо знают противоядие против их колдовства, как против собственного. Кроме того, здесь нет такой возможности привлечь к ответу за причиненное зло, как внутри собственной группы.

Поскольку речь идет о защите от зла, об излечении болезней, власть знахаря можно считать доброй. Но от него же может исходить и всяческое зло. Ничто плохое не происходит само по себе, все навлекает злонамеренный человек либо дух. То, что нам обычно представляется причиной, для них вина. Всякая смерть убийство, и это убийство требует отмщения.

\* \* \*

Поразительно, насколько все это близко к миру параноика... Двойственный характер присущ тайне и дальше, во всех высших формах проявления власти. От примитивного знахаря до параноика не бо-

лее шага. И не больше шага от них обоих до властителя, во всем множестве его хорошо известных исторических обличий.

У тайны здесь весьма активная сфера действия. Властитель, прибегающий к ней, хорошо это знает и прекрасно умеет оценить, что ему надо в каждом конкретном случае. Он знает, за кем надо следить, если хочешь чего-то добиться, и он знает, кого из своих помощников использовать для слежки. У него много тайн, поскольку он много хочет, и он приводит их в систему, где одна тайна скрывает другую. Одну он доверяет тому, другую этому и заботится о том, чтобы они не могли друг с другом связаться.

Каждый, кто что-то знает, находится под надзором другого, которому неизвестно, какой собственно тайной владеет тот, за кем он следит. Он должен брать на заметку каждое слово и каждое движение порученного его надзору; эти сведения, накапливаясь, дают повелителю представление об образе мыслей наблюдаемого. Но и сам согладаясь находится под наблюдением других, и донесения одного корректируют донесения другого. Таким образом, властитель может всегда судить о надежности сосуда, которому он доверил свои тайны, о том, насколько стоит ему доверять, и способен заметить, когда этот сосуд окажется настолько полон, что может уже перелиться через край. Ключ ко всей сложной системе тайн в руках у него одного. Он чувствует, что опасно доверить его целиком кому-то другому.

Власть означает неодинаковую степень просматриваемости. Властитель просматривает все, но он не позволяет просматривать себя. Никто не вправе знать ни его настроений, ни его намерений.

Классическим примером такой загадочности был Филиппа Мариа, последний Висконти. Его герцог-

ство Милан было великой державой в Италии XV века. Не было равных ему в умении скрывать свою сущность. Никогда не говорил он открыто, чего хочет, но все затуманивал с помощью своеобразной манеры выражаться. Если кто-то становился ему не по душе, он продолжал его хвалить; наделяя кого-то почестями и подарками, он обвинял его в горячности или глупости и давал человеку понять, что он не достоин своего счастья. Пожелав кого-то иметь в своем окружении, он на время приближал человека к себе, обнадеживал, а затем оставлял ни с чем. Но когда человек уже считал, что его забыли, он призывал его к себе обратно. Удостоив милости людей, в чем-то перед ним отличившихся, он с удивительным притворством спрашивал потом об этом других, как будто ничего не знал об оказанном благодеянии. Как правило, он давал не то, что его просили, и всегда не так, как этого хотели. Задумав вручить кому-то подарок либо оказать почести, он за много дней до этого любил расспрашивать человека о посторонних вещах, чтобы тот не мог догадаться о его намерениях. Более того, чтобы никому не выдать, что у него на уме, он нередко сожалел о дарованной им же самим милости или о смертном приговоре, привести в исполнение который сам же приказал.

В этом последнем случае он действовал так, будто пытался держать что-то в тайне даже от самого себя. Терялось ощущение тайны осознанной и активной, ее вытесняла пассивная форма тайны, той, что скрывается в темноте собственного тела, что хранят там, где к ней уже нет доступа, тайны, о которой не помнишь сам.

«Право царей хранить свои тайны от отца, матери, братьев, жен и друзей», — говорится в арабской

«Книге династии», где рассказано о многих древних традициях двора Сасанидов.

Персидский царь Хосров II Победоносный придумал совершенно особый способ, чтобы удостовериться, умеет ли человек, которого он хочет использовать, хранить тайну. Зная, что двое из его приближенных связаны узами тесной дружбы, во всем и против всех заодно, он уединялся с одним из них и доверял ему тайну, касавшуюся его друга. Он сообщал ему, что решил этого друга казнить и под угрозой наказания запрещал выдавать тому эту тайну. Затем он наблюдал, как тот, к кому относилась угроза, появлялся во дворце, наблюдал за его поведением, походкой, за цветом лица, когда он предстал перед царем. Если видно было, что его поведение ни в чем не изменилось, он убеждался, что друг не выдал ему тайну. Тогда он этого человека приближал к себе, повышал в чине, всячески отличал и демонстрировал свое расположение. Позднее, наедине, он ему говорил: «Я собирался казнить этого человека, потому что мне кое-что о нем сообщили, но, разобравшись в деле поближе, я убедился, что все это была ложь».

Но если он замечал, что названный им человек проявлял страх, держался особняком и отворачивал взгляд, становилось ясно, что его тайна выдана. Тогда он демонстрировал предателю свою немилость, понижал его в чине и сурово с ним обращался. Другому же он давал понять, что всего лишь испытывал его друга, доверив ему тайну.

Он доверял способности придворного молчать, когда вынуждал его предать своего лучшего друга, обреченного на смерть. Но самым скрытным старался быть он сам. «Кто не годится, чтобы служить царю, — говорил он, — тот и сам ничего не стоит, а кто сам ничего не стоит, от того мало проку».



\* \* \*

Власть молчания всегда высоко ценилась. Она означает способность не поддаваться никаким внешним поводам для разговора, а им нет числа. Ты ни на что не даешь ответа, как будто тебя и не спрашивают. Невозможно понять, нравится тебе что-то или не нравится. Молчишь, хотя и не онемел. Но слышишь. Стоическая добродетель непоколебимости в своем крайнем выражении сводилась к молчанию.

Молчание предполагает, что ты хорошо знаешь то, о чем умалчиваешь. Поскольку в действительности ты онемел не навсегда, существует выбор между тем, о чем можно сказать, и тем, о чем ты умалчиваешь. То, о чем умалчивается, лучше известно. Это знание точнее, и оно больше ценится. Оно не только защищается молчанием, оно сосредоточивается в нем. Человек, который много молчит, всегда производит впечатление более сосредоточенного. Предполагается, что, раз он молчит, он много знает. Предполагается, что он много думает о своей тайне. Она у него на уме всякий раз, когда приходится ее защищать.

Таким образом, тайна в молчащем не может забыться. Его уважают за то, что она жжет его все сильнее и сильнее, что она растет в нем и что он все-таки ее не выдаст.

Молчание изолирует: молчащий более одинок, чем говорящие — значит ему дана власть обособленности. Он хранитель сокровища, и это сокровище в нем. Молчание противостоит превращению. Кто чувствует себя на внутреннем посту, не может от него отлучиться. Молчащий может кем-то при-

кинуться, но уже надолго. Он может надеть какую-то маску, но уж тогда ее не меняет. Текучие превращения не для него. Они слишком неопределенны, с ними никогда не знаешь заранее, куда попадешь. Молчат всегда там, где не хотят превращаться. За-молкнув, обрывают всякую возможность прекращения. Разговором все начинается между людьми, в молчании все застывает.

Молчащий обладает тем преимуществом, что его высказывания больше ожидают. Ему придают больше цены. Оно звучит кратко, обрывисто и напоминает приказ.

Между приказывающим и тем, кто должен ему подчиняться, возникают отношения искусственного видового различия, предполагающие отсутствие общего языка. Они не должны говорить друг с другом, как будто они этого не могут. При всех обстоятельствах считается, что отношения между ними возможны лишь в форме приказа. В рамках таких отношений получающие приказ становятся молчаливками. Но обычно ожидают также, что, когда молчаливники наконец заговорят, их высказывания будут звучать как приказы.

Недоверие ко всем более свободным формам правления, презрение к ним, как будто они вовсе не способны серьезно функционировать, связаны с тем, что в них мало тайны. В парламентские дебаты вовлечены сотни людей, смысл этих дебатов в их открытости. Здесь провозглашаются и сравниваются противоположные мнения. Даже заседания, объявленные закрытыми, трудно держать в полном секрете. Профессиональное любопытство прессы, финансовые интересы часто влекут за собой разглашение тайны.

Считается, что сохранить тайну может отдельный человек или совсем небольшая группа близких ему людей. Совещаться надежней всего, по-видимому, совсем маленькими группами, где все обязались хранить тайну и предусматриваются самые тяжелые санкции за предательство. Но доверять ее лучше всего отдельному человеку. Тот может сам не знать ее суть, пока ему ее не доверили, а получив, воспримет как приказ, который необходимо быстрее выполнить.

Почтение, с каким относятся к диктатурам, в значительной мере основано на том, что те имеют возможность сконцентрировать всю мощь тайны, которая в демократиях разбавлена и разделена между многими. С издевкой подчеркивается, что демократии все способны проболтать. Каждый обо всем болтает, каждый во все вмешивается, нет ничего, о чем бы не было известно заранее. Кажется, будто сетуют на недостаток решительности, на самом деле разочарованы недостатком тайны.

Люди готовы вынести многое, если что-то нагрянет на них насильственно и внезапно. Похоже, существует какой-то особый рабский соблазн, ведь сам не замечаешь, как оказываешься в могучем брюхе. Непонятно, что на самом деле произошло, непонятно когда; другие еще рады первыми угодить в пасть чудовища. Почтительно ждут, трепещут и надеются стать избранной жертвой. В этом поведении можно видеть апофеоз тайны. Ее прославлению подчинено все прочее. Не так уж важно, что происходит, если только это происходит с внезапностью извергнувшегося вулкана, неожиданно и необратимо.

Но когда все тайны оказываются у одной стороны и в одних руках, это может в конечном счете оказаться роковым не только для тех, кто ими владеет,

что само по себе было бы не так уж и важно, но также и для тех, к кому они относятся, а вот это имеет значение огромное. Всякая тайна взрывчата и все больше раскаляется изнутри. Клятва, скрепляющая ее, есть то самое место, где она и раскрывается.

\* \* \*

До чего опасна может быть тайна, стало особенно ясно лишь в наши дни. Она обрела еще больше власти в различных сферах, только внешне друг от друга независимых. Едва скончался диктатор, против которого мир вел объединенную борьбу<sup>1</sup>, как тайна явилась теперь уже в виде атомной бомбы — более опасная, чем когда-либо, и быстро набирающая силу в своих отпрысках.

Концентрацией тайны можно назвать отношение между числом тех, кого она касается, и числом тех, кто ею обладает. Из этого определения легко увидеть, что наши современные технические секреты самые концентрированные и опасные тайны из когда-либо существовавших. Они касаются всех, но осведомлено о них лишь малое число людей, и от пятидесяти человек зависит, будут ли они применены.

## Суждение и осуждение

Стоит начать с явления, знакомого всем, с радости осуждения. «Плохая книга», говорит кто-нибудь, или «плохая картина», и кажется, будто он высказывается о сути дела. Между тем выражение его лица

---

<sup>1</sup> Книга Канетти написана в 1960 году. — Примеч. ред.

свидетельствует, что говорит он с удовольствием. Ибо форма выражения обманывает, и скоро высказывание переносится на личность. «Плохой поэт» или «плохой художник», следует тут же, и это звучит, как будто говорят «плохой человек». Каждому нетрудно поймать знакомых и незнакомых, себя самого на этом процессе осуждения. Радость отрицательного суждения всегда очевидна.

Это жесткая и жестокая радость, ее ничем не собьешь. Приговор лишь тогда приговор, когда в нем звучит этакая зловещая уверенность. Он не знает снисхождения, как не знает осторожности. Он выносится быстро; по своей сути он больше подходит к случаям, когда не требуется размышления. Его быстрота связана со страстью, которая в нем чувствуется. Безусловный и быстрый приговор это тот, который вызывает на лице произносящего его выражение удовольствия.

В чем суть этого удовольствия? Ты что-то от себя отстраняешь к худший разряд, причем предполагается, что сам ты принадлежишь к разряду лучшему. Унижая других, возвышаешь себя. Естественным и необходимым считается наличие двоякого рода ценностей, противопоставленных друг другу. Хорошее существует всегда постольку, поскольку оно возвышается над плохим. Что считать хорошим, а что плохим, определяешь ты сам.

Таким образом ты присваиваешь себе власть судьи. Ибо это лишь кажется, что судья стоит между двумя лагерями, на границе, разделяющей добро и зло. Сам-то он в любом случае относит себя к лагерю добра; право исполнять эту должность основано в значительной мере на его безусловной принадлежности к царству добра, как будто он там и

родился. Он, так сказать, судья по природе. Его приговор имеет обязательную силу. Судить он должен о вполне определенных вещах на основании приобретенного опыта. Он много знает о добре и зле. Но и те, что не являются судьями, кому никто не поручал эту роль, да при здравом рассудке и не поручил бы никогда, постоянно позволяют себе изрекать приговоры о чем угодно. Для этого отнюдь не требуется быть специалистом: по пальцам можно пересчитать тех, кто воздержался бы от приговора из чувства стыда.

\* \* \*

Болезнь осуждения одна из самых распространенных среди людей, ей подвержены практически все. Попытаемся вскрыть ее корни.

Человеку присуща глубокая потребность разделять всех, кого он себе только может представить, на группы. Подразделяя неопределенную, аморфную совокупность людей на две группы, он придает им нечто вроде плотности. Он группирует их, как будто они должны друг с другом бороться, он их обособляет и наделяет враждебностью. Такими, как он их себе представляет, какими он хочет их видеть, они могут друг другу только противостоять. Суждение о «добре» и «зле» — древнейшее средство дуалистической классификации, отнюдь не совсем, однако, абстрактной и не совсем мирной. Между тем и другим предполагается напряжение, и судящий создает и поддерживает это напряжение.

В основе этого процесса тенденция образовывать враждебные орды. Конечным же результатом должна стать военная орда. Распространяясь на дру-

гие всевозможные сферы жизни, тенденция как бы разбавляется. Но даже если она проявляет себя мирно, даже если она выражается всего в одном-двух осуждающих словах, все равно всегда существует потенциальная возможность довести ее до активной и кровавой вражды двух орд.

Каждый, будучи связан в жизни тысячью отношений, принадлежит к многочисленным группам «добра», которым противостоит столько же групп «зла». Нужен только повод, чтобы та или другая из них, распалившись, стала ордой и набросилась на враждебную орду, пока та ее не опередила.

Тогда мирные на вид суждения оборачиваются смертными приговорами врагу. Тогда границы добра четко обозначаются, и горе носителю зла, который их переступит. Ему нечего делать среди носителей добра, он должен быть уничтожен.

### **Власть прощения. Помилование**

Власть прощения — это власть, на которую у каждого есть право и которой обладает каждый. Было бы интересно рассмотреть жизнь с точки зрения актов прощения, которые человек себе позволяет.

Характерная черта параноидального типа, когда человек с трудом способен прощать или вовсе этого не может, когда он долго над этим размышляет, постоянно помнит обо всем, что надо простить, придумывает якобы враждебные действия, чтобы их никогда не прощать. Больше всего в жизни человек такого типа сопротивляется всякой форме прощения. Но если прощение полезно для его власти, если ради ее утверждения нужно кого-то помиловать, это дела-

ется только для видимости. Властитель никогда не прощает на самом деле. Каждое враждебное действие берется на заметку, скрыто хранится в душе до поры до времени. Иногда прощение дается в обмен на истинную покорность; не великодушные акты властителей имеют такую подоплеку. В стремлении подчинить все, что им противостоит, они порой платят за это непомерно высокую цену.

Безвластный человек, для которого властитель невероятно силен, не видит, сколь важна для того всеобщая покорность. Он может, если вообще это ему дано, судить о росте власти лишь по ее реальной мощи и никогда не поймет, как много значит для блистательного короля коленопреклонение самого последнего, забытого, ничтожного подданного. Заинтересованность библейского Бога в каждом, назойливость и озабоченность, с какой он старался не упустить ни одной души, может служить высоким образцом для каждого властителя. Бог также устроил сложную торговлю с прощением; кто ему покоряется, тех он вновь берет под свою опеку. Но он внимательно следит за поведением вновь приобретенного раба, и при его всеведении ему не составляет труда заметить, что его обманывают.

\* \* \*

Не подлежит никакому сомнению, что многие запреты введены лишь для того, чтобы поддерживать власть тех, кто может карать и прощать преступивших их. Помилование весьма высокий и концентрированный акт власти, ибо оно предполагает осуждение; без осуждения невозможен и акт помилования. С помилованием связан также выбор. Не

принято миловать больше, чем какое-то определенное, ограниченное число осужденных. Карающему не следует проявлять чрезмерной мягкости, и, даже если он делает вид, будто жестокое наказание глупо противно по природе, он обоснует эту жестокость священной необходимостью кары и ею все оправдывает. Но он всегда оставит открытым также путь помилования, распорядится ли о нем в избранных случаях сам или порекомендует его какой-то более высокой инстанции, занимающейся этим.

Высшее проявление власти — это когда помилование происходит в последний момент. Приговор осужденному на смерть должен быть уже приведен в исполнение, он стоит уже под виселицей или под дулами винтовок тех, кто должен его расстрелять, и тут внезапное помилование как бы дарует ему новую жизнь. Это предел власти, поскольку вернуть к жизни действительно мертвого она уже не может; однако придержанным напоследок актом помилования властитель зачастую производит впечатление, будто он перешагнул эту границу.

### **Подражание и притворство**

Словами «подражание» и «превращение» часто неразборчиво и неточно обозначают одни и те же явления. Было бы целесообразно их развести. Это ни в коем случае не одно и то же; их осторожное различение поможет осветить процессы собственно превращения. Подражание — это нечто внешнее; предполагается что-то, находящееся перед глазами, чьи движения копируются. Если речь идет о звуках, подражание — это не больше чем точное их воспроизведение. Этим еще ничего не говорится о внутрен-

нем состоянии подражающего. Обезьяны и попугаи подражают, но при этом они не изменяются. Им неизвестно, что представляет собой то, чему они подражают, оно не пережито ими изнутри. Они скачут от одного к другому, но последовательность, в которой это происходит, не имеет для них ни малейшего значения. Переменчивая поверхностность облегчает подражание. Обычно подражают в какой-то отдельной черте. Поскольку это — по самой природе явления — черта, бросающаяся в глаза, подражание часто кажется способным давать характеристику, чего нет на самом деле.

Человека можно узнать по определенным словосочетаниям, часто им употребляемым, и попугай, который ему подражает, может внешне о нем напомнить. Но эти словосочетания не обязательно характерны для этого человека. Это могут быть фразы специально для попугая. Тогда попугай подражает чертам несущественным, и непосвященный никогда не узнает по ним человека.

Короче говоря, подражание, или имитация, — это самый первый импульс к превращению, который мгновенно затем исчезает. Такие импульсы могут следовать быстро один за другим и относиться к самым разным предметам, что особенно наглядно демонстрируют обезьяны. Именно легкость имитации препятствует ее углублению.

Само же превращение выглядит телом по отношению к двухмерности подражания. Переходной формой от подражания к превращению, где остановка на полпути делается сознательно, является притворство.

Выказывать себя другом, имея враждебные намерения (что практикуется во всех позднейших формах

власти), — это ранний и важный род превращения... При этом внутреннее хорошо спрятано за внешним. Дружественно-безвредное — снаружи, враждебно-смертельное — внутри. Смертельное обнаруживает себя лишь в своем заключительном акте.

\* \* \*

Эта двоякость и есть крайняя форма того, что обычно именуют притворством. Само слово в его буквальном смысле не могло бы быть нагляднее, чем оно есть. Однако оно применялось к столь многим более слабым процессам, что утратило добрую часть своей выразительности. Я хочу восстановить его строгий смысл, называя притворством дружественный образ, в котором скрывается враждебный. [...]

Притворство — это ограниченный род превращения, — единственный, что доступен властителям вплоть до нынешнего дня. Дальше властитель не может превращаться. Он остается самим собой, пока осознает свои враждебные намерения. Предел его превращений — это внутреннее ядро, его подлинный облик. Он может счесть полезным иногда спрятать ужас, им внушаемый. Для этого он пользуется разными масками. Но они надеваются на время и никогда не изменяют его внутреннего облика, представляющего его природу.

### **Фигура и маска**

Конечный продукт превращения — фигура. Дальнейшее превращение не допускается. Фигура ограничена и ясна во всех своих чертах. Она не природна, а является созданием человека. Это спа-

сение из бесконечного потока превращений. Не следует путать ее с тем, что современная наука обозначает как вид или род.

Ближе всего можно постичь ее сущность, размышляя о фигурах богов древних религий. Стоит рассмотреть с этой точки зрения некоторых египетских богов. Богиня Шехмет — женщина с головой львицы, Анубис — мужчина с головой шакала. Тот — мужчина с головой ибиса. У богини Хатор — голова коровы, у Гора — голова сокола. Эти фигуры в их определенной неизменной — двойственной человеко-животной — форме тысячелетиями властвовали в религиозных представлениях египтян. В этой форме они повсюду запечатлевались, к ним — именно в этой форме — возносились молитвы. Удивительно их постоянство. Однако уже задолго до того, как возникли устойчивые системы божеств подобного рода, двойные человеко-животные создания были обычны у бесчисленных народов Земли, никак не связанных между собой.

Мифические предки австралийцев — человек и животное одновременно, иногда — человек и растение. Эти фигуры называются тотемами. Есть тотем — кенгуру, тотем — опоссум, тотем — эму. Для каждого из них характерно, что это человек и животное одновременно: он ведет себя как человек и как определенное животное и считается предком обоих.

Как понимать эти изначальные фигуры? Что они, собственно, собой представляют? Чтобы их понять, нужно иметь в виду, что это представители мифических первовремен, когда превращение было универсальным даром всех существ и происходило безостановочно. Человек мог превращаться во что угодно; он умел также превращать других. Из этого общего потока выделились отдельные фигуры, представ-

ляющие собой не что иное, как закрепление определенных превращений. Фигура, которой, так сказать, придерживаются, которая становится живой традицией, которая постоянно изображается, о которой постоянно рассказывают, — это не то, что мы сегодня называли бы видом животного, — не кенгуру, не эму, но нечто двоякое и одновременно: кенгуру, проникнутый человеком, человек, по желанию становящийся эму.

Процесс превращения оказывается, таким образом, древнейшей фигурой. Из многообразия бесчисленных и бесконечных возможных превращений вычленено одно определенное и закреплено в фигуре. Сам процесс превращения — один из таких процессов — прочно установлен и потому наполнен особой ценностью по сравнению со всеми другими процессами, которые исключены. Эта двойная фигура, содержащая и сохраняющая в себе превращение человека в кенгуру и кенгуру в человека, навсегда остающаяся себе тождественной, есть первая и древнейшая из фигур, их источник.

Можно сказать, что это еще свободная фигура. Оба ее аспекта равноценны. Ни один не подчинен другому, ни один не скрыт за другим. Она восходит к первобытным временам, но в богатстве своих смысловых воздействий она всегда современна. К ней можно подступиться; излагая мифы, которым она принадлежит, человек соучаствует в ней.

\* \* \*

Нам важно добиться ясности относительно этого древнейшего рода фигур. Важно понять, что фигуры начинались совсем не с простого, а со сложного

и — в противоположность тому, что мы нынче представляем как фигуру, — с того, что выражало процесс превращения одновременно с его результатом.

Маска, благодаря своей неподвижности отличается от остальных конечных состояний превращения. На место никогда не успокаивающейся, вечно подвижной мимической игры выступает ее прямая противоположность — полная неподвижность и застылость. В игре мимики особенно ярко выражается беспрестанная готовность человека к превращениям. Мимика человека богаче, чем мимика любого другого существа, человеческая жизнь богаче всех других в смысле превращений. Невозможно передать, что происходит с человеческим лицом в течение одного-единственного часа. Если бы хватило времени точнее пронаблюдать все побуждения и настроения, проскальзывающие по лицу, то удивительно, как много можно было бы узнать и выделить импульсов к превращениям.

Обычай не везде одинаково оценивает свободную игру лица. В некоторых цивилизациях свобода лица существенно ограничена. Считается неподобающим сразу показывать боль или радость, ее замыкают в себе, и лицо остается спокойным. Глубинной причиной такого отношения является требование постоянной автономии человека. Никому не разрешено проникать в другого, и этот другой не позволяет того же самому себе. Человек должен иметь силу быть сам по себе и быть тождественным себе. Одно с другим здесь тесно связано. Ибо именно воздействие одного человека на другого вызывает непрестанные быстротечные превращения. Они выражаются в жестике и мимике; там, где эти действия считаются предосудительными, любое

превращение затруднено и, в конечном счете, парализуется.

Уяснив природу застылости таких неестественных «стоических» натур, легко понять сущность маски вообще: она есть конечное состояние. Подвижный поток неясных, всегда незаконченных превращений, чудесным выражением которых является естественное человеческое лицо, застывает в маску; он завершается в ней. Когда маска налицо, не показывается уже ничего, что начинается, что представляет собой еще бесформенный бессознательный импульс. Маска ясна, она выражает нечто вполне определенное, не больше и не меньше. Маска неподвижна, это определенность, которая не меняется.

Правда, под этой маской может быть другая. Ничто не мешает исполнителю носить под одной маской другую. Двойные маски известны многим народам: когда снята одна, под ней появляется другая. Но это тоже маска, тоже конечное состояние. Переход от одного к другому скачкообразен. Все возможные посредующие звенья исключены; нет смягчающих переходов, подобных тем, что можно наблюдать на лице человека. Новое, другое является внезапно. И оно столь же ясно и неподвижно, сколь и предыдущее. От маски к маске возможно все, что угодно, но всегда скачком, всегда одинаково резко.

Маска воздействует в основном вовне. Она создает фигуру. Она неприкосновенна и устанавливает дистанцию между собой и зрителем. Она может, например, в танце, приблизиться к зрителю. Однако сам зритель должен оставаться там, где он находится. Застылость формы выливается в постоянство дистанции; дистанция не меняется, и в этом завораживающий характер маски.

Ибо сразу за маской начинается тайна. В острых ситуациях, о которых здесь и идет речь, то есть когда маска воспринимается всерьез, человеку не положено знать, что за ней находится. Она многое выражает, но еще больше скрывает. Она представляет собой раздел: скрывая за собой опасность, которую не положено знать, препятствуя установлению доверительных отношений, она приближается к человеку вплотную, однако именно в этой близости остается резко от него отделенной. Она угрожает тайной, сгущающейся за нею. Поскольку ее нельзя прочесть, как подвижное человеческое лицо, человек гадает и пугается неизвестного.

При этом в визуальной сфере происходит то, с чем каждый знаком по сфере акустической. Предположим, человек прибывает в страну, язык которой ему совершенно неизвестен. Вокруг люди, пытающиеся с ним заговорить. Чем меньше он понимает, тем больше старается угадать. Он гадает в полной неизвестности, опасаясь враждебности. Но он не верит себе, расслабляется и даже слегка разочарован, когда слова переведены на один из знакомых ему языков. Как они безвредны! Каждый совершенно незнакомый язык представляет собой акустическую маску, став понятным, он превращается в понимаемое и вызывающее доверие лицо.

Маска, следовательно, — то, что не превращается, что пребывает неизменным и длящимся в изменчивой игре превращений. Она воздействует, по сути дела, тем, что скрывает прячущееся за ней. Маска полноценна, когда исключительно она перед нами, а то, что за ней, остается непознаваемым. Чем определеннее она сама, тем туманнее то, что за нею. Никто не знает, что могло бы вырваться из-под маски. Напря-



жение между застылостью маски и тайной, которая за ней сокрыта, может достигать необычайной силы. Это и есть причина ее угрожающего воздействия. «Я именно то, что ты видишь, — как бы говорит маска, — а то, чего ты боишься, скрывается за мною». Она завораживает и одновременно заставляет держаться подальше. Никто не смеет ее тронуть. Смертью карается срывание маски кем-то другим. Пока она активна, она неприкосновенна, неуязвима, священна. Определенность маски, ее ясность заряжена неопределенностью. Власть ее в том и заключается, что она в точности известна, но непонятно, что она в себе таит. Она ясна снаружи, так сказать, только спереди.

Но если в определенных церемониях маска ведет себя именно так, как ожидается, как привыкли, она может действовать успокаивающе. Ибо она стоит между скрытой за ней опасностью и зрителем. Так что, если с ней обращаться правильно, она может уберечь от опасностей. Она может собирать опасность и хранить ее внутри себя, выпуская наружу лишь в той мере, в какой это соответствует ее облику. Установив с маской контакт, можно выработать способ поведения по отношению к ней. Она представляет собой фигуру с характерными формами поведения. Если их изучить и понять, если знать правильную дистанцию, она сама охранит от опасностей, в ней заключенных.

\* \* \*

Об этом воздействии маски, ставшей фигурой, можно было бы сказать многое: с нее начинается, в ней продолжается и гибнет драма. Однако речь здесь идет только о самой маске. Нужно также

знать, что она представляет собой с другой стороны, ибо она воздействует не только вовне, на тех, кто не знает, что за ней скрывается, — ее носят люди, прячущиеся за ней.

Эти люди хорошо знают, что они такое. Но их задача — разыгрывать маску и при этом оставаться в определенных, соответствующих маске границах.

Маска надета, она снаружи. Как материальная вещь, она четко отграничена от того, кто ее носит. Он воспринимает маску как нечто чуждое и никогда не спутает с собственным телом. Она ему мешает, суживает поле зрения. Разыгрывая маску, он всегда раздвоен — он сам и она. Чем чаще он ее надевает, чем лучше знает, тем больше в процессе игры переходит от него в фигуру маски. Но, несмотря ни на что, оставшаяся часть его личности отделена от маски; это та часть, которая боится разоблачения, которая знает, что внушает страх, не имея на то оснований. Тайна, которая пугает тех, кто снаружи, должна воздействовать и на него, находящегося внутри; но это, как можно полагать, другое воздействие. Они боятся того, чего не знают, он боится разоблачения. Именно этот страх не позволяет ему слиться с ней целиком. Его превращение может пойти очень далеко, но оно никогда не будет полным. Маска, которую иначе можно было бы сбросить, — это граница, не дающая осуществиться превращению. Ее нельзя потерять, она не должна упасть, не должна открыться, он полон забот о ее судьбе. Так что сама маска остается внешней по отношению к его превращению как оружие или орудие, с которым нужно правильно обращаться. Как просто человек он оперирует ею, как исполнитель он одновременно превращается в нее. Он, следовательно, двойствен и на протяжении всего представления должен оставаться таковым.

## Обратное превращение

Властитель, осознающий свои враждебные намерения, не может притворством обмануть всех. Есть ведь и другие, которые благодаря своей власти такковы же, как он сам, не признают его и считают соперником. По отношению к ним он всегда настороже, они могут стать опасными. Он ждет удобного случая «сорвать маску» с их лица. Тогда сразу обнаружится их подлинная суть, хорошо ему известная по себе самому. Разоблачение сделает их безопасными. На первый раз он может, если это отвечает его целям, оставить их в живых, но проследить, чтобы им не удавались новые обманы, и будет всегда держать их на виду в их подлинном обличье.

Превращения, совершаемые не им самим, ему невыносимы. Он может возносить на высокие посты людей, бывших ему полезными, однако эти осуществляемые им социальные превращения должны быть четко определенными, ограниченными и оставаться полностью в его власти. Возвышая и унижая, он дает установление, и никто не может отважиться на превращение по собственному почину.

Властитель ведет нескончаемую борьбу против спонтанных и неконтролируемых превращений. Разоблачение — средство, используемое им в этой борьбе, — полярно противоположно превращению, и его можно назвать обратным превращением. Менелай осуществил его с морским старцем Протеем, не испугавшись образов, в которые тот воплощался, стремясь ускользнуть. Менелай схватил и держал его крепко, пока тот не обрел свой подлинный облик.

Главная характеристика обратного превращения состоит в том, что всегда точно известен его результат.

Ожидаемое ясно заранее; властитель начинает процесс с ужасающей уверенностью, презирая все превращения противника, видя насквозь эти лживые ухищрения. Обратные превращения могут совершаться однократно, как это было с Менелаем, возобладавшим над мудростью Протея. Но они могут производиться часто и, в конце концов, превратиться в страсть.

Учащение обратных превращений ведет к редукции мира. Богатство форм его проявления в этом случае ничего не значит, всякое многообразие становится подозрительным. Все листья одинаково сухи и пыльны, все лучи угасают во мраке враждебности.

\* \* \*

В душевной болезни, которая находится с властью в столь тесном родстве, что их можно было бы назвать близнецами, обратное превращение выступает как один из видов тирании. Параноией особенно характеризуют два свойства. Одно из них психиатры именуют диссимуляцией. Это не что иное, как притворство как раз в том смысле, в каком это слово здесь употребляется. Параноики могут притворяться так хорошо, что о многих невозможно догадаться, сколь серьезно они больны. Другое свойство — это бесконечное разоблачение врагов. Враги повсюду, они притворяются друзьями, принимают безвредный и безопасный облик, но параноик, обладающий даром пронизывающего зрения, ясно видит, что скрывается внутри. Он срывает маски, и оказывается, что все это, в сущности, один и тот же враг. Параноик, как никто другой, предается обратным превращениям, и в этом он подобен застывшему властителю. Место, которое он, по его представ-

лению, занимает, значение, которое он себе придает, все это в глазах других, разумеется, чистая фантазия. Тем не менее, он будет отстаивать их, беспрерывно используя оба связанных между собой процесса — притворство и разоблачение...

### **Запрет превращения**

Социальное и религиозное явление огромной важности представляет собой запрет превращения. Вряд ли оно было когда-либо всерьез проанализировано, не говоря уже о том, что понятно. Дальнейшее представляет собой попытку рассмотреть его в самом первом приближении.

В тотемных церемониях племени аранда может участвовать лишь тот, кто принадлежит тотему. Превращение в двойную фигуру предка из мифических времен — это привилегия, доступная лишь избранным. Никто не может, не имея на то права, воспользоваться превращением, охраняемым, как драгоценнейшее достояние. Его берегут, как берегут слова и звуки сопровождающих его священных песнопений. Именно точность деталей, составляющих эту двойную фигуру, ее определенность и отграниченность облегчают ее охрану. Запрет на приобщение к ней строго соблюдается; на это требуется полная религиозная санкция. Только после долгих и сложных инициации молодой человек входит в группу тех, кому при определенных обстоятельствах дозволено превращение. Женщинам и детям оно безусловно и строго запрещено. Для инициированных из других тотемов запрет иногда снимается в знак особого уважения. Но это единичные случаи; затем запрет соблюдается так же строго, как и раньше.

В христианстве, сколь ни велики различия между ним и верованиями аранда, также имеется запретная фигура — дьявол. Его опасность возвещается на все лады, в сотнях рассказов-предостережений повествуется, к чему ведет сговор с дьяволом, детально живописуются вечные муки душ в аду. Интенсивность этого запрета необычайна, она особенно чувствуется там, где люди испытывают побуждение действовать ему вопреки. Истории одержимых, поступками которых управлял сам дьявол или многие дьяволы, хорошо известны. Самые знаменитые из них — аббатиса Жанна из Анжа, монастыря урсулинок в Лудене, и отец Сурэн, изгонявший из нее дьявола до тех пор, пока дьявол не перешел в него самого. Здесь дьяволом оказались одержимы люди, специально посвятившие себя богу. Им гораздо строже, чем простым людям, запрещено сближение с дьяволом, не говоря уже о превращении в него. Но запретное превращение поглотило их целиком. Вряд ли мы ошибемся, если свяжем силу превращения с силой запрета, которому оно подлежит.

Сексуальный аспект запрета превращения, в плену которого они оказались, яснее всего можно наблюдать в явлении ведьм. Единственное преступление ведьмы состоит в ее половой связи с дьяволом. Чем бы она ни занималась в остальное время, ее тайное существование венчают оргии с участием дьявола. Именно поэтому она и ведьма. Совокупление с дьяволом — важнейшая составная часть ее превращения.

Идея превращения через половое совокупление стара как мир. Поскольку каждое создание обычно сочетается лишь с существом другого пола того же самого рода, легко предположить, что отклонение

от этого будет восприниматься как превращение. В этом случае уже древнейшие брачные законы могут рассматриваться как одна из форм запрета превращения, то есть запрета любого другого превращения, кроме тех, что разрешены и желательны.

\* \* \*

Пожалуй, важными из всех запретных превращений являются социальные. Любая иерархия возможна только при наличии таких запретов, не позволяющих представителям какого-либо класса чувствовать себя близкими или равными высшему классу. У примитивных народов эти запреты бросаются в глаза даже среди возрастных классов. Однажды возникшее разделение подчеркивается все острее. Переход из низшего в высший класс всеми способами затрудняется. Он возможен лишь посредством особых инициаций, которые при этом воспринимаются как превращения в собственном смысле слова. Часто этот переход рассматривается так, будто человек умирает в низшем классе и затем пробуждается к жизни в высшем. Между классами стоит смерть — весьма серьезная граница. Превращение предполагает долгий и опасный путь. Оно не дается даром; кандидат должен пройти через всевозможные проверки, труднейшие испытания. Однако все, что он испытал в молодости, позднее, уже принадлежа к высшему классу, он преподносит новичкам как суровый экзаменатор. Идея высшего класса, таким образом, стала идеей чего-то строго обособленного, целой жизни самой по себе. С ней связаны священные песни и мифы, иногда свой собственный язык. Представителям низших классов, женщинам например, полностью исключенным из высших классов,

остается с ужасом и покорностью созерцать ужасные маски и внимать таинственным звукам.

Наиболее жестко разделение классов проводится в кастовой системе. Здесь принадлежность к определенной касте начисто исключает любое социальное превращение. Каждый точнейшим образом ограничен как снизу, так и сверху. Даже прикосновение к низшим строжайше запрещено. Брак разрешается только между представителями своей же касты, профессия предписывается. Значит, исключена возможность благодаря роду занятий превратиться в существо другого сословия. Последовательность проведения этой системы удивительна; лишь ее детальное исследование помогло бы распознать все возможные пути социальных превращений. Поскольку всех их следует избегать, они тщательно регистрируются, описываются, проверяются. Эта абсолютная система запретов позволяет — с позитивной точки зрения — составить четкое представление о том, что должно рассматриваться как превращение из низшего класса в высший. «Опыт о кастах» с точки зрения превращения совершенно необходим; его еще предстоит написать.

Изолированная форма запрета превращения, то есть запрета, относящегося к одному-единственному лицу, находящемуся на вершине общества, обнаруживается в ранних формах королевской власти. Надо отметить, что два самых ярких типа властителей, известных древности, отличаются как раз своим прямо противоположным отношением к превращению.

На одном полюсе стоит мастер превращений, который может принять любой образ, какой только ему захочется, будь то образ зверя, духа животного или духа умершего. Это трикстер, вбирающий в себя всех других благодаря превращениям, — лю-

бимая фигура мифов североамериканских индейцев. Его власть основана на бесчисленных, доступных ему превращениях. Он поражает исчезновениями, нападает неожиданно, позволяет схватить себя, но так, что исчезает снова. Важнейшее средство исполнения им его удивительных деяний — все то же превращение.

Подлинной власти мастер превращений достигает в качестве шамана. В экстатическом трансе он созывает духов, подчиняет их себе, говорит их языком, становится таким же, как они, и отдает им приказания на их особый лад. Путешествуя на небо, он превращается в птицу, морским зверем достигает дна моря. Для него нет невозможного, во все убывающей череде превращений он достигает пароксизма, сотрясающего его до тех пор, пока он не обретет то, что хочет.

Если сравнить мастера превращений со священным королем, для которого действительны сотни ограничений, который должен оставаться постоянно на одном и том же месте, и оставаться неизменным, к которому нельзя приблизиться и которого нельзя увидеть, — то станет ясно, что их различие — если свести его к наименьшему общему знаменателю — заключается не в чем ином, как в противоположном отношении к превращению. Для шамана возможности превращения безграничны, и он использует их максимально полно, королю же они запрещены, и возможность превращения парализована вплоть до полного оцепенения. Король должен оставаться настолько себе тождественным, что не может даже постареть. Ему следует быть мужчиной одних и тех же лет, зрелым, сильным, здоровым, и лишь только появлялись первые признаки старости — седина, например, или слабела мужская сила, — его часто убивали.

\* \* \*

Статичность этого типа, которому запрещено собственное превращение, хотя от него исходят бесчисленные приказы, ведущие к превращениям других, вошла в сущность власти. Этот образ определяет и представления современного человека о власти.

Властитель — это тот, кто неизменен, высоко вознесен, находится в определенном, четко ограниченном и постоянном месте. Он не может спуститься «вниз», случайно с кем-нибудь столкнуться, «уронить свое достоинство», но он может вознести любого, назначив его на тот или иной пост. Он превращает других, возвышая их или унижая. Не подлежит, например, сомнению, что стремление превратить целый народ в рабов или животных пробуждается во властителе тем сильнее, чем многочисленнее этот народ.

То, что не может случиться с властителем, он совершает с другими. Он, неизменный, изменяет других по своему произволу.

ВОЖДЬ МАСС<sup>1</sup>

## Принуждение

Принуждение существует, когда вы входите в класс или когда вы собираетесь вместе, чтобы сообща принять решение. Оно еще сильнее в отношениях

---

<sup>1</sup> Из книг С. Московичи «Век толп» и «Машина, творящая богов». Перевод с французского Т. Емельяновой и Г. Дилигенского.

с начальником или с администрацией, оказывающих давление на человека и навязывающих ему выбор, который часто противоречит его воле и его собственному выбору. Принуждение существует и в таких близких отношениях, как отношения двух влюбленных, родителей и детей, даже друзей: именем супружеской четы, семьи или дружбы навязываются определенные поступки и определенные мнения.

Вы узнаете социальный факт в том принуждении, что оказывается извне на вашу жизнь и отличается ваши поступки, ваши мысли и чувства. Во многих отношениях оно похоже на другое принуждение, испытываемое нами, на принуждение физического свойства. Руководствуясь смутным инстинктом, наше тело чувствует предел своих сил, тот момент, когда оно должно прервать свою активность, чтобы отдохнуть, накормить себя или поспать. И мы знаем, что должны легче одеться летом и теплее зимой, наклонить голову, чтобы не удариться о дверной косяк. Мы также должны покрывать голову, входя в место отправления израильского культа, и снимать головной убор в церкви, кланяться, приветствуя значительных персон, чтобы не подвергнуться порицанию или санкциям. Все эти действия кажутся нам неизбежными и даже необходимыми.

Однако социальное принуждение не тождественно принуждению физическому, хотя их результаты могут быть подобными. Если их различия и выглядят внешне очевидными, необходимо еще понять их существо. Не будем обольщаться простотой моих примеров и выражений. Она вызвана не стремлением проще объяснить то, о чем идет речь, а тем, что мы имеем дело с неким человеческим опытом, который, внешне представляясь элементарным, вовсе

таким не является. И который во все времена каждым переживался как вечная дилемма.

Если позволительно обратиться к роману как к зеркалу, отражающему общественные проблемы, то мы углубимся в типично человеческую драму, чтобы отыскать смысл этого принуждения. Ведь всякая драма рождается из намерения уклониться от того, чего избежать нельзя, из возможности не делать того, что делать необходимо.

Одним из наиболее знаменитых романов всемирной литературы является, без сомнения, «Анна Каренина». Его героиня — женщина красивая, глубоко искренняя и великодушная. В совсем юном возрасте она выходит замуж за высокопоставленного русского чиновника, перед которым открывается блестящая карьера, и ведет счастливую жизнь. Она принята в высших кругах Санкт-Петербурга, охотно и без всяких усилий принаравливается к их правилам и этикету. Она обожает своего сына, любит своего единственного брата, уважает мужа, который старше ее на двадцать лет. Жизнерадостная и подвижная от природы, она пользуется всеми благами, которые дарит ей удобное окружение, вплоть до того дня, когда, возвращаясь из путешествия в Москву, она знакомится с Вронским, аристократом и молодым офицером.

Анна без памяти влюбляется в него. Эта любовь словно изменяет ее саму и все, что ее окружает. Люди и вещи предстают перед ней в другом свете. Ее страсть к Вронскому — это пожар, который охватывает ее старый мир и уничтожает его, как лава извергающегося вулкана сжигает все вокруг.

Анна Каренина — не просто влюбленная женщина. Это женщина цельная, одаренная глубоким мо-

ральным чувством, которое руководит ее действиями. И она не может принять, как, скажем, героиня Бальзака Дельфина де Нусинген, узаконенный в свете адюльтер. В отличие от Эммы Бовари, эта женщина не способна на компромисс ради сохранения приличного буржуазного существования и одновременно исполнения своей мечты о любви в постели со сменяющимися друг друга любовниками.

И Анна уезжает с Вронским в Италию, а затем в его поместье в Центральной России. Их совместная жизнь вовсе не приносит ожидаемого счастья. За границей, как и в деревне, они не приняты, можно сказать, деклассированны, их союз считается незаконным, а значит, презируемым.

Устав от этого унижительного существования, они возвращаются в Санкт-Петербург. Но их окружение отвергает их, поскольку они оказались в ложном положении, не свободны и не связаны законом, другими словами, неприличны. На самом деле эта среда, как и в других случаях, прощает соблазнитель, но не терпит женщин, совершивших адюльтер.

Анна Каренина вызывает на себя гнев — она оскорблена и освистана, люди ее осуждают и клеймят. Эта прямая женщина, которая осмеливается бросить им вызов, в глазах всех представляет собой верх развращенности и аморальности. Доведенная до отчаяния враждебным отношением своего окружения и запутанностью своих любовных дел, в один из воскресных дней мая она бросается под товарный поезд.

Теперь Вронский осознает свое собственное легкомыслие и свою утрату. Он уезжает на войну, которую Россия ведет с Турцией, чтобы там найти смерть, подобающую людям его круга.

\* \* \*

«Анна Каренина» — один из величайших романов о любви, которые были когда-либо написаны, и это не просто драма одной любви, прекрасной, несмотря на все, что ее омрачало. Мучимый религиозными и социальными проблемами, Толстой через своих персонажей ставит перед собой жизненно важные вопросы. Его героиня терзается проблемой: что может подлинная личность перед лицом общества. Какова природа тех оков, из которых нельзя вырваться?

Эта личность чувствует груз необходимости, которой она подчиняется в каждое мгновение своей жизни. Мы узнаем эту необходимость по тому, как она заявляет о себе с властью должностования: «Ты должен любить ближнего своего», «Ты должен повиноваться отцу и матери» или «Ты не должен убивать», «Ты не должен прелюбодействовать», короче, «Ты должен».

Таким образом, жизнь и поступки в обществе отмечены этими предписаниями и этими запретами. И мы обновляем их, не отдавая себе в этом отчета, ежеминутно. Но симметрия обманчива, так как в целом запрещения доминируют. Из десяти библейских заповедей семь выражены в форме «Не делай..», а другие позитивны лишь на первый взгляд.

Когда провозглашают заповедь: «Люби ближнего своего», вам предписывают: «Не ненавидь его», как если бы у вас было такое желание. Чаще всего родители воспитывают своих детей, приказывая им: «Не делай этого», «Не трогай того», прежде, чем они позволяют им: «Ты можешь делать это», «Ты можешь трогать то».

Есть основания сказать, что мы, по-видимому, обязаны выполнять наш долг, каковы бы ни были ограничения, вознаграждения и наказания, которые из этого следуют. Витгенштейн пишет по этому поводу: «Так вопрос, относящийся к последствиям поступка, не должен представлять интереса».

Нельзя сказать, что мы выполняем это охотно. Человек, который делал бы так, не имел бы никаких заслуг и не чувствовал бы никакого оказываемого на него принуждения. Напротив, принуждение существует лишь в той мере, в какой индивид сопротивляется долгу, навязанному группой. Или когда он жертвует чем-то, отказывается от ожидаемой выгоды или от надежды на счастье. Запрещая своим приверженцам есть свинину, Коран оговаривает это специально: «Не говори: я не люблю свинину. Скажи: я любил бы ее, но мой небесный отец запретил мне есть ее».

Если мы чувствуем давление, а подчинение внушает нам отвращение, это именно потому, что существует некое принуждение, которое останавливает данное принуждение. Это чрезвычайное зло, против которого любое общество борется и должно бороться. Назовем его желанием, эгоизмом, грехом, интересом, инстинктом, отклонением от нормы или другим именем. Оно противопоставляет себя, а так как оно себя противопоставляет, давление всего того, что нас обязывает и чему мы должны уступить, признается таковым.

Анна Каренина была счастливой и внутренне спокойной женщиной, пока она выполняла свой долг по отношению к своему сыну, своему мужу, своей семье и обществу Санкт-Петербурга. Она сознательно платила за это своей молодостью, своей непосредственностью. Толстой это подчеркивает: существо-

вание Анны оставалось образцом довольства и душевного покоя, пока она шла на эти жертвы. Драма ее связи с Вронским рождается не тогда, когда она совершает адюльтер и поступает вопреки своему долгу. Она могла бы продолжать вести ту же жизнь, иметь одного или нескольких любовников, любить Вронского с согласия всех, включая ее собственного мужа. В конце концов, ситуации подобного рода были расхожими в ее окружении, и никто не требовал от нее выходить за рамки обычного. Достаточно было пойти на компромисс, как большинству людей, позволить себе быть обязанной по привычке, не беря на себя настоящих обязательств.

Но цельная личность не может с этим согласиться. Она придает понятию «долг» полный и глубокий смысл. Подчиняясь обществу, своим близким, их ценностям, она желает подчиняться и себе самой. Драма Анны Карениной разыгрывается потому, что она не может больше этого делать. Именно в момент разрыва обнаруживают себя эти связи, именно в свободе проявляется внутреннее принуждение. Выходя замуж, Анна Каренина обещала быть супругой Каренина, родив сына, она обещала быть хорошей матерью, а встретив Вронского, она обещала ему свою любовь.

Конечно, глагол «обещать» и выражение «я обещаю» суть стереотипные формулы. Но имеющие тяжелые последствия. Когда их употребляют по отношению к себе самому и по отношению к другим, делают больше, чем просто заявляют о своих намерениях или дают какую-то информацию: этим берут на себя обязательство. Точнее, принимают обязательство совершить поступок, уважать связи, за которые ответственны перед обществом и перед совестью. В конечном счете мы можем уподобить его



присяге. Тогда тот, кто обещает, подвергается зачастую тираническому влиянию своего «я должен».

Не точно ли такое чувство испытывает тот, кто считает себя наделенным какой-то миссией, кого отличают сильные убеждения или кто, подобно художнику или святому, верит, что отвечает призыву, следует призыванию? Сам по себе, абсолютно добровольно, он чувствует себя обязанным подчиняться правилам и, чтобы доказать их истинность, отказываться в случае необходимости от своего комфорта, даже от своей жизни. Без сомнения, вы испытали на себе, что императив «ты должен» становится гораздо более властным, когда внутренний голос вторит ему, как эхо, и приказывает «я должен».

Анна Каренина не может не услышать его. Она не обладает необходимой силой лицемерия, чтобы отказаться от своих обещаний и свести их к шутке или уловке, как это делают ее приятельницы. Она убивает себя не из-за того, что совершает грех против таинства брака. Все бы простили ей этот пикантный грех. И не из-за того, что она плутует с правилами общества, не очень придирчивого на самом деле. Она могла бы к этому приспособиться, используя один из тех светских пируэтов, которые спасают положение. Толстой подчеркивает это на примере одного из персонажей романа — княгини Бетси, которая безмятежно существует между мужем и любовником, так, что ни у кого не находится повода для критики.

Но натура Анны Карениной такова, что пренебрежение своим долгом по отношению к мужу и близким напоминает ей о ее собственных обязательствах. Обнаруживается истинная причина ее самоубийства, лежащая в основе завязки и развязки драмы: она нарушила клятву, она предала свое обе-

щание. Какое-то время длится борьба между двумя обязательствами, которые она пытается маломальски примирить. Но эта борьба истощает все: и ее любовь, и ее желание жить. Когда Анна убивает себя, она выступает не против общества, она выступает против себя самой, выбирая смерть грубую и публичную.

Это единственный свободный поступок, который ей дозволен, пожалуй, единственный моральный поступок — единственный, за который она берет на себя ответственность: я должна. В каком-то смысле она возвращается к прежнему состоянию, к невинности, к моменту, предшествующему ее встрече с Вронским. Не тогда ли завязывается интрига, когда офицер узнает, что какой-то железнодорожник попал под поезд? И Анна говорит: «Это зловещее предзнаменование». Интрига развязывается, когда героиня сама бросается под поезд. Можно предположить. Толстой видит в нем символ современного общества, притесняющего личность, будь то великосветская дама или рабочий.

\* \* \*

Мы знаем, что в первую очередь интересует романиста. Для него любовь не может быть ни исключительно плотской, ни полностью эгоистичной, противоречащей высшим ценностям. В этом случае она была бы нежизнеспособной или искусственной. Любовное существование совместимо с моралью и подлинным обществом лишь тогда, когда индивид уважает то, что он обещает, и обещает то, что обязуется уважать. Для сопоставления Толстой иллюстрирует это историей образцовой любви и женитьбы княжны Щербатской и Левина, выражающего мысли автора.

Углубленное исследование этого персонажа романа открывает нам тот отличительный признак, который мы ищем. Очевидно, именно ограничения и сопротивление, которые мы встречаем в том, что мы можем и чего не можем сделать, позволяют распознать физическое принуждение. Так, мы никогда не сможем построить машину, которая производила бы больше работы, чем потребляла энергии, ни изобрести средство, которое позволило бы избежать смерти. Но именно обязанность, которая навязывается нам другими и которую мы навязываем самим себе, придает принуждению социальный характер и отличает его.

### **Запреты как способ существования власти**

Власть — вот действительный и неизбежный источник отношений между людьми. Мы видим ее повсюду: в школе и у домашнего очага, на рынке и в административных учреждениях и, само собой разумеется, в государстве и церкви. «Одни люди должны подчиняться каким-либо другим людям» — таков единственный категорический императив, общий для всех верований.

Два аспекта характеризуют власть. Извне — это принцип порядка, который отделяет правителей от управляемых и указывает каким образом большинство должно подчиняться командующему меньшинству. Если институт строго следует ему, он подавляет у первых искушение командовать, а у вторых столь сильное искушение подчиняться кому-либо.

Изнутри власть — это принцип действия, на которое рассчитывает общество. Она задает его членам цель и диктует им поведение, которого они должны

придерживаться, чтобы достичь ее. Без власти невозможно осуществить принятые решения и требовать от индивидов необходимых для этого средств: времени, материальных ресурсов и иногда — как во время войн — человеческих жизней.

Здесь возникает вопрос об орудиях власти, который нам надо рассмотреть подробнее. Принцип порядка реализует такое своеобразное орудие, каким является насилие. Хотя оно иногда преобразуется до неузнаваемости, мы не можем отринуть его, отсутствие насилия или освобождение от него совершенно исключены. «Любое государство основано на силе», — сказал однажды Лев Троцкий. Это всеобщая истина, и никто ее не опроверг.

В том, что касается принципа действия, власть напоминает постулат какой-либо науки. Его выбирают не на основе экспериментальных или теоретических доказательств, но исходя из очевидности, которую подтверждают ученые. Таковы постулаты о параллельности двух прямых линий, не пересекающихся ни в одной точке, в геометрии или о сохранении энергии в физике. Таким же образом «выбирают» постулат действия в обществе, чтобы оправдать ту цель, то основание, во имя которых и кому именно его члены должны подчиняться, те способы, которыми это подчинение осуществляется. Когда партия или политический деятель вырабатывают некий проект и предлагают его нации, каковы бы ни были их сиюминутные намерения, они, чтобы править, обеспечивают себя хартией. Тем или иным образом власть облакает себя моральным превосходством. Поэтому она никогда не предстает в грубом виде, как сила ради силы, как борьба ради борьбы.

Какой бы ни была власть, с которой люди имеют дело, возникает вопрос: «В каких условиях они под-

чиняются и почему? На какие внутренние оправдания и внешние средства опирается это господство?». Вебер в числе этих условий называет прежде всего военную силу, например, политику, связанную с армией, или экономический интерес. Далее, на основании общепризнанного права, скажем, выборов или наследования, подчинение авторитету, лицу, призванному командовать другими.

Следовательно, с одной стороны, насилие в различных формах, с другой — легитимность, оправдывающая и освящающая господство. Вот апостроф из Корана, иллюстрирующий этот контраст: «Бедуины говорят: «Мы верим». Скажите: «Вы не верите». Лучше скажите: «Мы покоряемся», пока вера не вошла в ваши сердца».

Внутренняя вера, дополняющая в различных пропорциях внешнее насилие, — вот формула легитимности. Согласно тому, что мы уже знаем, Вебер рассматривает господство — и в этом основа его теории — исключительно с данной позиции. Не в том смысле, что он пренебрегает экономическим или вооруженным давлением, но в том, что, чем больше доверия и любви внушают носители власти, тем более полных повиновения и возможностей командовать они достигают. Английский мыслитель Д. Раскин прав, когда он пишет: «Царь видимый может стать царем подлинным, если однажды он захочет оценить свое царствование своей истинной силой, а не географическими границами. Неважно, что Трент отделяет от вас какой-то замок, а Рейн защищает другой, меньший замок, расположенный на вашей территории. Для Вас, царя людей, важно, чтобы вы могли сказать человеку: «Иди» и он пойдет, и сказать другому: «Приди», и он придет... Для

Вас, царя людей, важно знать, ненавидит ли Вас Ваш народ и умирает за Вас или любит Вас и живет благодаря Вам»...

Короче, власть партии над нацией, учителя над классом, вождя над массой осуществляется при том условии, что нация, класс или масса верят в них, не оспаривают их легитимность. Эта вера выражает давление общества на индивида, оно навязывает ему дисциплину и учит, что хорошо или плохо, верно или неверно, вплоть до того, что правила и ценности становятся в конце концов частью его самого, инкорпорируются в его конституцию. Он верит в то, во что от него требуют верить, и соответственно действует, побуждаемый невидимыми силами, исходящими от него самого, по крайней мере от его собственной воли. Власть, центром тяжести которой является такая дисциплина, легитимна.

Немецкий социолог Юрген Хабермас дает ей более общее определение. На мой взгляд, оно в то же время исчерпывающее и поэтому я его воспроизвожу: «Легитимность политического порядка измеряется верой в нее тех, кто подчинен его господству». Именно эту веру предназначены измерять еженедельные опросы общественного мнения, касающиеся наших политиков, или то, что папа римский ищет в далеких странах, когда он собирает там тысячи и миллионы людей. И именно эту веру имеют в виду, когда говорят, что президент республики имеет «право помилования».

Легитимность в этих случаях так велика, что она спонтанно принимает облик личной любви. Она переносит индивидов в другую действительность, более теплую, интимную, и они не сомневаются, что сами выбрали и создали ее.

Доверие, следовательно, главная проблема господства. Но это доверие особого рода, которое не может опираться, как в иных случаях, только на чувство и мнение. Мы не поймем его полностью, если удовлетворимся столь расплывчатыми показателями.

Каким образом доверие поддерживается вопреки колебаниям в настроениях и суждениях? В том, что касается доверия, постоянство является императивом. Это хорошо видно по той заботе, с какой правители стараются обеспечить себя преемниками и утвердить определенную доктрину. В этом отношении психологическое и субъективное содержание доверия предполагает социальную форму выражения.

Необходимо уточнить этот момент. Несомненно, доверие по своей природе представляет собой согласие по поводу верований и ценностей. Но если согласие возникает из обсуждения и обмена аргументами, обладающими убедительной силой, оно не может опираться на них. Ибо оно нуждалось бы тогда в постоянном испытании своего влияния, дабы сохранять сплоченность членов группы и в любой момент получать их поддержку.

Вера в согласие, в консенсус между управляемыми и правящими, ее признание, напротив, опирается как раз на отсутствие дискуссии. Другими словами, ее особенность в том, что она основана на запрете, молчаливом, но вездесущем запрете на критику. Этим способом общество избавляется от беспокоящих его споров и диссонансов, во всяком случае, публичных. Определенные убеждения и правила жизни выделяются в особую группу и ставятся над всеми другими подобно тому, как золото воз-

несено над бумажными деньгами. Можно спорить о лучшей избирательной системе, но сам принцип выборов остается неприкасаемым. Можно устанавливать определенные ограничения свобод, и кодексы их устанавливают, например, кодекс прессы. Но сама свобода неприкасаема, и никто не осмелится стереть ее с фронтонов наших мэрий. То же относится и к равенству, от каких бы искажений ни страдало оно на практике.

Запрещенное для критики также не надо доказывать, как нельзя опровергать. В этой области каждый подчиняется обобщенному правилу: «Не спорь». Оно естественным образом отразилось в мысли итальянского философа Джамбаттиста Вико: «Сомнение должно быть изъято из любой доктрины, особенно из доктрины моральной». Ибо оно означает ущербность или слабость, которым можно противопоставить только силу, а не собственное убеждение.

Можно было бы бесконечно перечислять примеры этого запрета, иллюстрировать его универсальность. Все спонтанно склоняются перед ним. Невидимое и неосоздаемое препятствие, он проявляет свою силу принуждения в буйстве страстей, которые пробуждает в нас. Любой, кто робко пытается поставить под вопрос неоспоримое, встречает самое свирепое озлобление. Посмотрите, с какой быстротой церкви или партии отлучают за малейшее диссидентство и даже за спор, и вы поймете, о чем идет речь.

В принципе утверждается, что право на критику запечатлено в наших законах и нравах. Это так, но совершенно очевидно, что запрет ограничивает это право, чтобы заставить уважать те и другие, легитимировать их власть. Это подразумевается неуважающими банальностями вроде «Права она или нет,

но это моя страна», «Вне церкви нет спасения», или «Молчание — знак согласия».

Сила запрета! Перед ним безмолвны совесть и воля к проверке. «Но молчание, — писал датский философ Серен Кьеркегор, — или уроки, которые мы пытались из него извлечь, искусство молчать, является истинным условием подчинения». Молчанием, которое каждый умеет хранить в любой момент, мы делаем себя заложниками покорности и выражаем наше доверие.

\* \* \*

Я понимаю, что упрощаю дело. Тем не менее приходится признать, что запрет на критику не является достоянием лишь древней истории. Повсюду и всегда он обнаруживает — и в этом его особенность — существование легитимности и гарантирует ее. Ибо он ставит выше сомнения и возражения те верования и практику, которые необходимы для господства.

Было бы неверно приравнивать такое молчание к незнанию или скрытности, которые якобы превращают нас, большинство общества, в невинных слуг силы, задрапированной символами. Не знак и не символ, власть коренится столь же в явно провозглашенном и недвусмысленном запрете, который делает ее непогрешимой в наших глазах, сколь и в насилии, призванном ее выразить.

Что побуждает нас бросать на людей власти взгляд полубеспокойный, полупрезрительный? Не разрыв между их словами и делами, хотя он проявляется постоянно в той демагогии, к которой они прибегают и в которой запутываются так часто и так быстро. А также и не недостаток порядочности, иногда столь очевидный вопреки добродетельным

речам, слетающим с их губ. Все они выдают себя за людей, поднявшихся до своего высокого положения благодаря беспримерным чувству ответственности и мужеству перед лицом опасностей, подстерегающих их в неопределенной и угрожающей ситуации.

Нет, наше замешательство порождено неким неясным, не поддающимся определению впечатлением. Постоянно, несмотря ни на что, мы готовы признать за ними все те достоинства, которых они не имеют, и отбросив в сторону наше недоверие, следовать за ними. Но подобно священникам, побуждающим верующих грешить против собственной веры, они вынуждают нас своими бесчинствами и ложью нарушать единственное правило придающее легитимность их авторитету...

Внедренный в каждое сознание, запрет выхолащивает сомнения и глушит сердечные перебои. Ибо власть, которую оспаривают и противоречиво интерпретируют, уже не власть. Люди и группы, которые сумели дольше всего сохранить авторитет, обязаны этим умению уберечь сферу принципов от контрверз и своевременно отвести их от нее. У власти вкус запретного плода, все хотят ее отведать, но лишь немногие смеют вкусить ее.

Господство диффузно и обладает особым статусом. В качестве политического института оно ставит проблему метода: как управлять? Но в качестве отношения оно зависит от повседневной покорности, которая ставит проблему легитимности: во имя чего верить, выражать доверие? Если доверия начинает не хватать, руководители и руководимые испытывают нерешительность: руль корабля, например, государство, находится на своем месте, но в машинном отделении недостает энергии.

В наши дни такая ситуация наблюдается во многих странах Европы и Америки. Уже Вебера занимала эта проблема, он видел ослабление энергии в Германии, особенно в среде буржуазии. Замкнутая в своем профессиональном мире бизнеса и промышленности, она не сформировала ни кадров, ни интеллектуального инструментария, необходимых для уверенного управления нацией. В сущности, оба класса были убеждены, что власть это то ли какая-то накипь, то ли пристройка к общественному зданию. Новый подход Вебера состоял в том, что он превратил власть в решающее измерение общественного бытия, эпифеномен стал полноправным феноменом. Все остальное идет отсюда: жизненные вопросы экономики, администрации и религии регулируются внутри некоторой формой государства, которое навязывает свои решения.

Кратко резюмируя, можно сказать, что форму, которую принимает господство, обуславливают виды легитимности, следовательно, верования. Это краеугольный камень теории Вебера, оказавший наиболее заметное влияние на современную науку. Первый тип легитимности, которому он уделил максимальное внимание, рождается, как вы знаете, в период смуты и кризиса. Можно сказать, что он материализуется в аномальном и иногда в революционном обществе. Только перед таким обществом проблема обоснования легитимности возникает как абсолютно настоящая, даже до появления власти. Разве не такой является она для формирующейся нации, для социального движения, мобилизующего своих сторонников, для церкви, возникающей из волнения сект вопреки установившейся традиции? Именно поэтому не замечают их необходимости и предназначения и даже считают их абсурдными.

А когда вера в них распространяется в массах, их абсурдность исчезает и анафема их не достигает.

Затем, у членов этого общества нет другой силы, объединяющей их, кроме прямой, личной связи между правящими и управляемыми. Интересы слишком слабы и особые компетенции слишком второстепенны, чтобы заметно содействовать такому объединению. Поэтому власть, требующая тяжелых жертв ради неопределенных результатов, заставляет признать себя лишь когда ей удастся присутствовать как бы физически — так, что ее можно видеть и слышать. Решающую роль приобретают свойства характера и чувства. Без этого участники рискуют оказаться в стороне от общего дела. Независимо от конкретных обстоятельств, в таком обществе преобладает идея, что лишь исключительные индивиды в состоянии противостоять состоянию неопределенности и неведения. Идея столь же живучая, сколь та, которая предполагает, что в моменты смуты появляется вождь или спаситель. В его присутствии люди являются пленниками собственных эмоций, они подавлены собственным множеством, околдованы, уже покорны. Это зародыш власти в некотором роде сверхчеловеческой и личной.

### **Закон поляризации авторитета**

Авторитет относится к насилию в современную эпоху так же, как некогда душа относилась к телу. Власть представляет собой соединение обоих. Она немыслима как без первого, так и без второго. Приверженцы массовых коммуникаций утверждают, к ним можно прислушиваться или нет, что технический прогресс, обеспечиваемый медиа, происходит в

направлении значительного выравнивания авторитета в наших обществах, то есть в направлении сближения управляющих и управляемых. Как блестящий итог этого, они уже почти на протяжении столетия провозглашают наступление всеобъемлющей демократии. Чтобы подтвердить свои заявления, они доказывают, что беспрерывно возрастающее большинство читает газеты, слушает радио, смотрит телевизор: значит, оно все больше и больше в состоянии противостоять манипуляциям со стороны правящего меньшинства.

Психология толп в лице Тарда не верит ни одному слову из того, что утверждают эти ревностные поборники прогресса. В частности, одно наблюдение питает его недоверие: существование, уже мною обозначенное, постепенной поляризации коммуникаций, которые все больше концентрируются и становятся все более едиными. Можно ли говорить, что люди свободны и равны перед лицом медиа? Разумеется, нет.

При условии резких социальных потрясений, правда маловероятных, средства массовой коммуникации в этом случае рискуют быть быстро переданными в руки небольшой группы вождей. Тард постоянно подчеркивает эту дистанцию между руководителями и руководимыми, их неравенство в смысле авторитета. Закон поляризации гласит, что число лиц, между которыми распределены эти средства, имеет тенденцию уменьшаться. И напротив, число лиц, на которых они могут оказывать влияние, не померно возрастает.

С точки зрения психологии толп думать иначе — значит принимать желаемое за действительное. Каковы же причины? Подобно тому, как еще вчера нужно было гораздо больше работников для производства вручную одежду, чтобы одеть всех, точ-

но так же нужно было гораздо большее число лидеров, чтобы держать в руках население, охватывать взглядом каждого гражданина, убеждать его звуками своего голоса, постоянно воздействовать на него физически. И как в наше время один работник за смену произведет на станке в тысячу раз больше продукции, чем произвели бы столетие назад, так же и вождь в редакции своей газеты перед микрофонами или телекамерами гипнотизирует в тысячу раз больше людей, чем его предшественники.

«Простым красноречием гипнотизировались сотни или тысячи слушателей, посредством печатного слова — уже гораздо больше читателей, а через прессу на немыслимых расстояниях завораживаются бесчисленные человеческие множества».

Таким образом, продуктивность средств коммуникации становится колоссальной. Накопление символического капитала (а это множество событий и представлений, которые поставляют нам медиа, эти обособившиеся от нас посредством микрофона и экрана голоса и лица), — стремительное и несопоставимое с тем, что было известно в прошлом. Общество, в известном смысле испытывавшее потрясение, перешло на новый и решающий этап своей истории. После индустриального и финансового капитализма это этап символического капитализма, который базируется уже не на машинах или деньгах, а на коммуникации. Предаваясь такого рода пространственным рассуждениям на темы коллективной психологии, Тард заключает: «Через все это многообразие просматривается что-то вроде общего закона: это все увеличивающийся разрыв между числом вождей и числом ведомых. 20 ораторов или вождей *gentes*<sup>1</sup> в античные времена управляли городом в 2000 гражд-

<sup>1</sup> Родов (лат.) — Примеч. перев.

дан, между прочим, соотношение 1 к 100. А в наше время 20 журналистов, проданных или купленных, управляют иной раз 40 миллионами человек: соотношение 1 к 20 000 036».

Такое бесконечное расширение поля деятельности вождей и их работников пера ускоряет ротацию знаменитостей и авторитетов. Оно так же быстро возносит их в зенит моды, как и низвергает. В том, что касается управления людьми, созидательное движение, по-видимому, идет так же интенсивно, а продолжительность использования мощностей столь же кратка, как и в производстве вещей. Другими словами, медиа обеспечивают грандиозное потребление авторитета.

Когда средства коммуникации действуют в таком масштабе и в таком темпе, продуктивность подражательных и конформных систем тоже не отстает. Там, где воспроизводили лидера в десяти или двадцати тысячах экземпляров, теперь могут его воспроизводить в десяти или двадцати миллионах копий.

Нетрудно далее доказать следующее: расширение коммуникаций и интенсивность подражаний влекут за собой монополию авторитета и часто насилия. Он замыкается в узком кругу, концентрируется в руках очень немногих. Точнее сказать, в руках одного человека. Каковы бы ни были принципы, все в конечном счете сводится к личному.

Снова цифры! Численность страстей, верований, интересов, которые направлены на одного-единственного человека, возрастает, как и население, в геометрической прогрессии. Вообразите на минуту, чтобы представить себе это, совокупность чувств, которые могли быть устремлены на Перикла в Афинах, на Сократа, вынужденного обходить рынки, чтобы говорить с греческими сапожниками, сто-

лярами или живописцами, на Робеспьера в Париже. Сравните все это с совокупностью чувств, которые связывались с Рузвельтом, обращавшимся к американскому народу по радио, или с де Голлем, выступавшим по телевидению, чтобы выступить с речью перед французским народом. Язык численностей отмечает одну-единственную перспективу: возрастающую анонимность снизу и ускоренную персонификацию наверху.

«Вот почему мы наверняка можем предсказывать, — пишет Тард, — что будущее увидит персонификации авторитета и власти, в сравнении с которыми поблекнут самые грандиозные фигуры деспотов прошлого и Цезарь, и Людовик IV, и Наполеон».

Они действительно поблекли с 1899 г., когда эти фигуры были обозначены, и, в сравнении с нынешними деспотами, мы могли бы увидеть в них, мудрых монархов, диктаторов, почитающих закон. Если бы ценность теории определялась точностью ее предсказаний, то их можно было бы записать в актив психологии толп.

\* \* \*

Средства коммуникации, как мы только что видели, баснословно увеличивают власть вождя, поскольку они концентрируют авторитет на одном полюсе и преклонение — на другом. В то же самое время они создают новый тип вождя, а именно тот, который овладевает искусством прессы — публицист. Каждый руководитель, каждый государственный деятель должен обладать, кроме прочих собственных талантов, талантом журналиста, чтобы формировать публику, превращать ее в партию, придавать ей необходимые импульсы для завоева-



ния у нее авторитета. А для этого в наши дни достаточно иметь голос, который «звучит» по радио, и внешность, которая очаровывает по телевидению. Единственное различие заключается в том, что политический публицист должен был непременно обладать литературным даром, общей культурой, определенным воображением.

У сегодняшних политических звезд есть необходимость только в представительности их голоса по радио и в телегеничности. А это не предполагает ни культуры, ни литературного дарования, ни воображения, достаточно лишь некоторых элементов актерского мастерства.

Не избежать вопроса: откуда берется сила публицистов? Несомненно, из их дара гипнотизировать на расстоянии. А также из их знания публики, одновременно интуитивного и основанного на информированности. Они знают, что она любит и что ненавидит. Они удовлетворяют ее бесстыдное желание, коллективное и анонимное, видеть выставленными напоказ самые неподобающие сюжеты, несмотря на стыдливость составляющих ее индивидов. Они потакают ее склонности предаваться зависти и ненависти.

В публике потребность ненавидеть кого-то или обрушиваться против чего-то, поиск турецкой головы или козла отпущения соответствовали бы, по Тарду, потребности воздействовать на этого кого-то или на это что-то. Возбуждать восторг, благосклонность, великодушные публики — это не приводит ее в движение, не имеет серьезных последствий. И напротив, возбуждать ненависть — вот что захватывает, и предоставляет случай активно действовать. Разоблачить, бросить ей на съедение такой отвратительный и скандальный предмет — значит дать возможность для свободного выхода ее подспудным разрушитель-

ным силам, можно сказать, агрессивности, которая только и ждет сигнала, чтобы развернуться. Следовательно, направить публику против оппонента, личности, идеи — это самое надежное средство опередить его и подчинить себе. Зная все это, публицисты не отказывают себе в удовольствии поиграть на этих чувствах, так что «ни в одной стране, ни в одну эпоху апологетика не имела такого успеха, как клевета».

Как и публицист, государственный деятель должен так же представлять себе силу, имеющую мнения в различных слоях публики, к которым он обращается. Тард первым указал на то, что мы сегодня называем «политическим маркетингом», чтобы измерять пульс нации.

«Но для государственных деятелей, — пишет он, — которые должны управлять тем, что называют мнением, суммой восприятия или совокупностями идей, вопрос особой важности состоит в том, чтобы угадать, в каком социальном классе, в какой корпорации, в какой группе населения (чаще всего чисто мужская группа, и тогда сравнение будет обоснованным) представлены наиболее выраженные впечатления и идеи, наиболее энергичные убеждения и побуждения, то ли самые сильные, то ли самые прочные».

Разумеется, в эпоху научных достижений, как наша, речь идет не о том, чтобы угадывать, — необходимо подсчитывать, взвешивать и приходить к точной оценке этой энергии, что не исключает обычных ошибок, о которых свидетельствуют предвыборные зондирования.

Что касается стратегий убеждения, искусства внушения, они те же самые. Газета должна уметь добиваться внимания посредством разоблачений, скандалов и преувеличений. Короче говоря, «заставить повернуть голову какой-то большой шу-

михой». Необходимо утверждать идеи решительно, если это нужно, выражаться безапелляционно, поскольку безапелляционность является непреодолимой потребностью людей, собравшихся в толпу или публику. Наконец, last but not least<sup>1</sup>, не сходя с места повторять одни и те же идеи, одни и те же суждения: «Что касается аргументов, — пишет Тард, — один из наилучших, а также и наиболее банальных: непрерывное повторение одних и тех же идей, одних и тех же химер».

### Президент масс и массовая политика

Захват прессы, радио и особенно телевидения становится одной из целей политической борьбы и социальных дебатов. Справедливо или нет, каждая правящая группа — правительство или оппозиция — считает, что тот, кто получит к ним доступ, тот одновременно получит решающее влияние на общественное мнение. Зная ее или нет, все разделяют концепцию Тарда, согласно которой современные вожди для создания своей публики и управления ею должны располагать медиа и обладать необходимыми талантами, чтобы ими пользоваться.

Люди, изолированные друг от друга, каждый представляя нацию, становятся членами той разновидности толпы, которая составляет публику телезрителей, получающих одновременно одни и те же изображения, одну и ту же информацию, а значит, одни и те же идеи. Передаваемые программы подчинены этой цели и следуют «психологии и расхо-

жим предрассудкам в наибольшей мере: трудно сказать, вытекают ли программы из предрассудков или предрассудки из программ. Взаимодействие, без сомнения, совершается в духе все большей и большей унифицированности. Эта массивная установка на уровне ума наиболее застойного, наиболее инертного. Благодаря ей, посредством внушающего доверие эффекта повторения, политика правящих кругов гипнотизирует сознание».

В этих условиях тысячи лично преданных людей, многочисленные связи и соратники любого порядка, становятся абсолютно бесполезными. Достаточно некоторого очень ограниченного числа публицистов, чтобы достичь искомого результата, сообщить мысли президента и навязать свою волю целой стране.

Президент всегда держит в руках инструменты власти — полномочия обычного порядка и резервного. Но он не владеет больше той сущностью, которая внушает безраздельное уважение к должности и восхищение личностью. В этом новом контексте искусство правления является уже не искусством обольщения, а искусством (наукой?) коммуникации, в котором медиа — газеты, радио, телевидение — занимают решающее место.

\* \* \*

Очевидно, как всякий президент нации, имеющий вес, он окружен двором. Из его личности делают культ, и каждый стремится ему понравиться, его обольстить. Сам по себе такой культ, однако, смог бы вызвать поклонение, религиозный восторг, которые единственные привлекают толпы к их лидеру, как полюса магнита — железные опилки. Но, не-

<sup>1</sup> Последнее, но не менее важное (англ.) — Примеч. пер.

смотря на постоянные усилия, превосходную работу по подчеркиванию его должности и инсценированию великих событий, ему не хватало того единственного, что могло его возвысить: личного авторитета, харизмы.

Президент непринужденно чувствует себя в позиции государственного деятеля и наставника. Именно в этом качестве, очевидно, он хочет блистать, и, поддерживаемый временем, он блещет. О военачальнике говорят, что он является вождем людей. Из этого следует, что он увлекает их к битве, к славе, к смерти и умеет найти зажигательное слово в критический момент. О наставнике же говорят, что он просвещает своих учеников и зажигает в них не только знания как таковые, но, по крайней мере, желание знать.

Черты этого персонажа характерны. Он не творит: он передает. Свободный от головокружения чувства открытия, от сомнения вопросов, он знает лишь удовлетворение от подражания, спокойствие ответов. И у него есть ответ на все. Его отличает упорство. Верный одной школе, одному учебнику, одной системе мышления, сформировав свое мнение, он стоит на своем. Он не только отказывается видеть противоположное мнение, «другую сторону вещей», для него эта другая сторона вообще не существует. Пусть даже его собственное суждение привело его к противоположному выводу. Нет смысла возвращаться назад или предаваться новому изысканию.

Отсюда невозможность диалога. Он слышит только звук одного колокола, своего, и не понимает вопросов, которые ему задают. Так как они предполагают иную систему, принципиальное сомнение,

не существующие для него. Следовательно, он ведет монолог, это и есть деятельность преподавателя. Нетерпимый к возражениям, он охотно позволяет себе уходить от темы, если не повторять утверждения, слово в слово воспроизводящие то, что аудитория уже знает.

Сегодня педагогика предпочитает почву экономики. Весь язык, все мышление, — вся публичная речь развиваются на прокрустовом ложе этой науки — либеральной экономики. Так, в случае несогласия или конфликта с оппозицией, предпочитают больше не обращаться к широким историческим обобщениям, но анализируют природу происходящего, оппоненту приписывают незнание реалий, неприкрытый идеализм и отсутствие чувства ответственности. Является ли это суждение верным или ложным, о нем начинают говорить и мыслить в духе Тарда: «Сторонники правительства и оппозиционеры напоминают своими качаниями столкновение на бирже между играющими на повышение и играющими на понижение. Сторонники правительства играют на повышение, а оппозиционеры играют на понижение в общественных делах».

Это сравнение тем более точно, что биржа играет роль барометра мнений и реагирует в указанном смысле. Это, конечно, закон, установленный с точки зрения меньшинства, которое руководит и принуждает, а не большинства, которое подчиняется и сопротивляется.

Президент в своих речах и публичных появлениях обнаруживает некий педагогический стиль. Отсюда этот аргументированный язык, пронизанный повсюду целомудренным чувством, этот отвлеченный лексикон, свойственный высокопоставленным

чиновникам. Отсюда эти речи, изобилующие цифрами, процентами и подробностями. Посредством всего этого набора он предполагает прежде всего обучать, а затем убеждать. Это может дать положительный результат в мирное время, в кругах однородного политического класса — мятежники выставляются за дверь. Однако было бы достаточно прихода другого лидера, который сумел бы преобразовать публики в толпы, для того чтобы пошатнуть заботливо выстроенное здание...

\* \* \*

В течение десятка лет политические партии меняются. Партии-толпы становятся партиями-публиками. На это нам указывают три признака. Прежде всего, конкуренция, в которую они вступают, чтобы иметь доступ к средствам коммуникации и ими овладеть. Измерение своего влияния на телезрителей, слушателей и читателей — таким образом, граждан! — является общим для них занятием. Этим объясняется мода на анкетирование. Измеряют пульс общественного мнения, переписывают процент прослушивания радиопередач, учитывают намерения голосующих, определяют отношения по тому или иному вопросу, об инфляции или работах-иммигрантах. При этом не забывают о доле популярности политических деятелей с ее колебаниями. Каждую неделю газеты публикуют эти результаты, замещая общественные дебаты, высказываясь за нас.

Короче говоря, зондажи мнения путем опроса различных публик заменяют торжественные и волнующие плебисциты, в которых подвергнуться рис-

ку может только один лидер, наделенный властью. В этих опросах можно было бы видеть простое статистическое упражнение, в этих таблицах мнений — чистую информацию о состоянии людских умов. Но настоящая цель состоит в другом: «Импульс и санкция содержатся во мнении. Именно оно решает, где кончается свобода и где начинается беспорядок».

Затем практика изучения политического рынка — знаменитый американский маркетинг, — которая распространяется и определяет презентацию и выбор кандидатов. Собрав суждения, предпочтения статистической выборки людей, составляется обобщенный перечень их мнений. Они должны занять свое место в заявлениях каждой партии. Набрасывается портрет идеального избранника, на который каждый претендент должен быть похожим для того, чтобы вызвать доверие. Для этой цели претендент подвергается не только интеллектуальным манипуляциям, но также и физическому вмешательству — меняют зубы, заменяют очки, и т.д.

Кроме того, проведение агитационных кампаний перед выборами определяется специалистами по рекламе и доверяется агентствам после количественного анализа рынка. Родилась целая индустрия образа, с учетом повторения выборов, чтобы позволить партиям и кандидатам обращаться к наиболее различным и меняющимся публикам. Зная, что гражданин, телезритель или читатель прореагирует вначале как зритель, а затем — как избиратель, кандидаты отбираются с учетом перспективы их публичных выступлений.

Наконец, по образцу средств коммуникации авторитет поляризуется в государстве, в партиях и в большинстве учреждений. Повсюду организованная

масса смешивается со своим руководителем. Можно было бы сказать, что всякая масса стала личной собственностью своего лидера.

Действительно, на политической шахматной доске есть место только для пяти или шести фигур, чтобы изображать правила прямой демократии, — другие являются пешками, быстро удаляемыми. Наблюдатели описывают эту эволюцию в терминах, которые обновляют благодаря современному и гораздо более абстрактному языку те же понятия психологии толп, в частности, Тарда, непогрешимого прорицателя: «Первенство кандидата или лидера над политической группой, к которой он принадлежит, эта тенденция к персонализации власти, отмечаемая во всех ветвях исполнительной власти, объясняется тем фактом, что политическая коммуникация все чаще основывается на системе обмена образами и символическими значениями. Распространение образов превращает избирательное поле в настоящий мир знаков, где хитрые подмастерья сокровенного смысла заместили картезианских резонеров».

Эти подмастерья, не столь уж хитрые, сознательно применяют стратегии, которые создают им доказательства. Их не просят участвовать в противостоянии идей, мужчин и женщин, как и в столкновении представлений со всем тем, что содержит церемониал, ритуал. И этим, по большей части, мы обязаны медиа. Они рисуют великие мечты, обращают массы, тем не менее, не заставляя их действовать. Они требуют только одного человека, имеющего дарования руководителя и публициста, умение убеждать их, то есть обольщать.

Эти характерные черты нашей политической системы не являются абсолютно вечными. Они не

имеют никакого отношения ни к парламентской демократии, ни к демократии масс. В длительной перспективе все может измениться. Но в ближайшее время, несмотря на резкую критику, на анафему слева или справа, они соответствуют непрерывной эволюции.

### **Демократический деспотизм или деспотическая демократия**

Мы почти не рискуем ошибиться, замечая, что массовые общества варьируют от демократического деспотизма до деспотической демократии. Они используют то одну, то другую формулу в надежде со временем найти равновесие, которого они не достигают в пространстве. С этой точки зрения, история Франции показательна и с эпохи революции представляет собой классический образец. Повторение одинаковых причин вызывает одни и те же следствия, это очевидно по тому, как заразительны эти формы. То, что некогда было исключением, теперь стало образцом и своего рода наукой.

Как Французская революция, призвавшая массы к оружию, чтобы сразиться и победить, навязала войну своему классическому веку, так и череда современных революций и антиреволюций навязала деспотизм своему классическому порядку вещей. Поэтому так и распространилась сеть заведений и административных учреждений, в которых человек добивается продвижения в соответствии со своей компетенцией лишать людей их свободы.

Понятиям тоталитарной системы, культа личности или авторитарного режима я предпочитаю по-

нятие западного деспотизма, как более откровенное. Но даже из того немногого, что здесь было отражено, можно заметить ограничения его аналогии с восточным деспотизмом и то, что их различает. С одной стороны, вместо того, чтобы заниматься средствами производства, этот тип власти привлекает средства коммуникации и использует их как нервную систему. Они простирают свои ответвления повсюду, где люди собираются, встречаются и работают. Они проникают в закоулки каждого квартала, каждого дома, чтобы запереть людей в клетку заданных сверху образов и внушить им общую для всех картину действительности.

Восточный деспотизм отвечает экономической необходимости, ирригации и освоению трудовых мощностей. Западный же деспотизм отвечает, прежде всего, политической необходимости. Он предполагает захват орудий влияния или внушения, каковыми являются школа, пресса, радио и т.п. Первому удастся господствовать над массами благодаря контролированию их потребностей (в воде, в пище, например). Второй достигает этого контролем над верой большинства людей в личность, в идеал, даже в партию. Все происходит так, как если бы шло развитие от одного к другому: внешнее подчинение уступает место внутреннему подчинению масс, видимое господство подменяется духовным, незримым господством, от которого невозможно защититься.

С другой стороны, при древнем деспотизме вождь был хранителем неизменного порядка в обществе и в природе. Он находился наверху общественной иерархии в силу узаконенного неравенства. Никто не оспаривал его позиции, даже если и бунтовали против его личности. Его падение или смерть,

аналогичная смерти бога, рассматривалась как знак нарушения порядка вещей. Она вызывала ужас, искусно используемый его заранее определенными наследниками.

В современном деспотизме, напротив, потребность в вожде определяется исключительными обстоятельствами и крайней напряженностью ситуации. Таковы ситуации экономических кризисов с их чередой инфляции, безработицы, нищеты; таковы политические кризисы с их угрозой гражданской войны и краха всей системы, со сменой революций и контрреволюций, которые дестабилизируют аппарат управления и мощно мобилизуют массы.

\* \* \*

Сказанное подводит нас к очевидному выводу: вождь масс — это всегда узурпатор, признанный ими. Это происходит не только потому, что его действия шли вразрез с нормами законности, и что его власть была порождена чрезвычайным положением. Это также объясняется необходимым уважением принципа равенства. А он на самом деле не допускает, чтобы человек, кем бы он ни был, мог стоять неизмеримо выше сообщества. Так что всякий истинный лидер по существу своему незаконен. Но, пока он занимает свои позиции, он безгранично распоряжается массой.

Мне возразят, что ни значимость средств коммуникации, ни могущество лидеров не имеют того веса, который я им здесь приписываю. Будут называть другие действующие факторы, чтобы объяснить такое развитие истории. Я и не думаю этого отрицать, так колоссальна ее сложность. Но я сосредото-

чился на цели до конца проработать одну из гипотез психологии толп: тенденцию современного общества к деспотизму. Эта наука видела в ней симптом деградации нашей цивилизации, поражение индивида перед лицом сообщества и отказ интеллектуальной и политической элиты от их обязательств перед демократией.

Есть много средств будоражить души, восстанавливать против нее умы. Но повсюду, где мы наблюдаем царящие, но не правящие массы, без риска ошибиться можно предвидеть черты западного деспотизма. «Примечательно, — писал Поль Валери<sup>1</sup>, — что диктатура так же заразительна сейчас, как некогда свобода». Историк Возрождения Букхардт предполагал эту эволюцию задолго до появления на свет психологии масс: «Будущее принадлежит массам и тем личностям, которые смогут доступно объяснить им некоторые вещи».

Не наука выдумала деспотизм и тип авторитарной личности в Европе, как и не экономика выдумала прибыль или капиталистическое предприятие, сделав их предметом изучения. А ее, однако, этим попрекали. Это даже было причиной, почему ее подвергали цензуре и держали на карантине. Тем самым, может быть, надеялись укрепить демократию, обратить ее трагические поражения в триумфы.

---

<sup>1</sup> Валери Поль (1871—1945) — французский поэт, эссеист, критик. Через все творчество Валери проходит тема поисков «чистого Я», путь к которому лежит через постепенное освобождение от всего, что подвержено биологическим изменениям и распаду. — Примеч. ред.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ<sup>1</sup>

Для нашего времени характерна безнадежная, обреченная на поражение попытка передать командные позиции рациональному центру, якобы способному поглотить иррациональный центр [общественных сил], использовать и абсорбировать его. Но выдвижение на первый план сознания и интеллектуального метода позволяет увидеть, насколько общества, претендующие на рациональность, освобождают бессознательные и эмоциональные силы. Было бы трудно найти в прошлом примеры энтузиазма и жертвенности, сравнимые с теми, которые возбуждает в людях океан обещаний спасения, даруемого историей или вождем, превращенным в кумира.

Вы полагаете, что речь здесь идет об архаическом пережитке или об уловке, используемой в управлении? Значит, вы не поняли, какое влияние оказывают подобные обещания на мир наших чувств, каким потребностям они отвечают...

Независимо от того, является ли власть объектом восхваления или критики, она признается кульминацией безличности и рационального выбора средств, необходимого для достижения цели. Од-

---

<sup>1</sup> Из книги С. Московичи «Машина, творящая богов».

нако в течение истекших двух столетий ее основы изменились. На поверхности существуют лишь трудности выбора мотивов, объективно оправдывающих подчинение: принуждение, интерес, всеобщая воля, социальный договор, соотношение сил. Каждый из этих принципов может служить решающим доводом, но ни один из них не может сам по себе объяснить внутреннюю и устойчивую приверженность властной иерархии. Это хорошо видно во времена революций: власть разлетается на куски, и однако большинство людей сохраняют пиетет к ней, не осмеливаются завладеть ею, как бы боясь совершить святотатство.

Несомненно, единственным принципом, обосновывающим это преклонение перед властью, является легитимность. Но, как известно, она лишь закрывает истинную причину: реальное верование, которое наконец завоевывает безраздельное господство. Некогда оно было мирским ответвлением религии. Отныне оно представляет собой санкцию, полученную от большинства правящим меньшинством, и наиболее надежную опору власти.

Станным образом общество стремится сохранять себя, прививая своим членам, как говорил Ницше в «Воле к власти», «страдание, самоотречение, болезнь, притеснения и бесчестие, глубокое презрение к самим себе и мученическое неверие в самих себя». Эта правда настолько невыносима, что и наш язык и наши мысли избегают ее. Даже те, кто догадывается о ней, не в состоянии ее высказать.

Как бы то ни было, присвоенный обществом пафос величия растворяется в массе. Как будто оно просчиталось в выборе способа разрешить наши трудности и в оценке шансов такого результата.

Подвергнув все секуляризации, общество само оказалось секуляризованным, но какой ценой!

Возможно, я формулирую всего лишь личное ощущение, которое испытываю всякий раз, когда думаю о революциях и контрреволюциях нашего времени, взятых в совокупности, и которые я не могу воспринимать иначе, как в совокупности. Эту утрату ясности и доверия все чаще пытаются выразить формулой «конца истории». Таким образом обозначают тот факт, что общество больше не является инстанцией, придающей определенное направление нашей жизни, и что от него не ждут нового ответа на беспрестанно возникающие вопросы.

Разве можно отрицать, что оно все более переходит с центра на периферию сознания и даже науки? И что от него остаются только рутинные рамки, из которых улетучилась всякая страсть, подобно тому, как пчелы покидают мертвый улей?

И однако маятник не вернулся, как можно было бы ожидать, к индивиду. Правда, индивид не без оснований — их было бы трудно излагать здесь — ищет способы извлечь как можно больше из собственного «я», отстраняясь от общества, законы которого столь противоречат его природе. Он склонен стереть с себя клеймо общества, избежать сомнительных радостей, доставляемых интенсивной совместной жизнью.

И его изоляция, даже отвращение к единообразию означают, что он берет в свои руки собственное отдельное существование. Оно побуждает его предпочитать малые числа, требовать для себя демократии в повседневной жизни и индивидуализировать моральные и политические решения.



\* \* \*

Некогда поколения индивидов сменялись в течение короткого отрезка времени, и общества существовали до тех пор, пока их не разрушали внешние силы — войны или голод. Весь порядок регулировался процессом, в рамках которого личность была смертной, а группа — семья, деревня и т.д. — бессмертной.

В наше время общества меняются в течение жизни одного поколения. Так обстоят дела в нашем обществе, которое в течение одного десятилетия испытало столько изменений в системе отношений и столько водоворотов событий, сколько предшествующие общества в течение столетия. В буквальном смысле слова, мы стали историческим видом...

На поверхности мы переживаем спокойные времена. Мы находимся как бы в оранжерее, не двигаясь, но при малейшем ударе здание может разлететься на куски. Возможно, этический фон остается чем-то пугающим, но повсюду поверхностным. Только лишь в случае крайней опасности мы вопрошаем друг друга: «Как найти мораль?» — ее-то нам тогда недостает. Как будто бы это вопрос минут или секунд. Но ведь речь-то идет о наших обществах.

У человека не остается более ни одного предустановленного ориентира, определяющего направление пути и внушающего доверие. И никакой меры различения высших и низших целей, которым, как он хочет верить, руководствуется власть. Стало быть, остается полагаться на случайные законы, что соответствует глубокому беспорядку в положении дел. Одни и те же страхи, одно и то же возбуж-

дение объединяют всех в горниле толпы, где убийство и грабеж, апология лжи становятся законными и похвальными.

Затем приходит отречение от убеждения, что смысл нашей совместной жизни уже вписан в происходящее. Убеждения в существовании некоей невидимой руки, которая распоряжается событиями как если бы они должны были осуществиться, как если бы человечество должно было эволюционировать к большей просвещенности, справедливости, равенству и миру.

Для людей, зажатых в тиски своих убеждений, внимание к реальности равносильно нисхождению в ад. Ибо любое такое усилие несет в себе риск: оно может замарать чистоту цели и нарушить жесткость обосновывающих ее верований. Стремление к цели без согласования ее со средствами предполагает уверенность в ее непременном осуществлении с непреложностью закона природы. Достаточно лишь слиться с ней, как политический активист сливается со своей партией, верующий — с вероисповеданием, пацифист — со своим идеалом всеобщего мира, невзирая на травмирующий эффект реальных событий и жестокость практики. Вот что придает мрачное величие движениям, вдохновляемым неким всегда имеющимся в наличии смыслом и свидетельствующим о нем — это и ничего больше.

Тем или другим путем возникает отказ от склонности верить в обладание неким особо надежным знанием о том, что стоит труда делать и во имя чего. Эту склонность мы обнаруживаем у мыслителей, партий, наций, идейных школ, утверждающих, будто они владеют единственно верным и непогрешимым мировоззрением. Эта монополия на исти-

ну сводит к ничтожным величинам чувство долга и связь с другими людьми, ибо миссия каждого predetermined заранее. Вспомним тон и акценты политических и философских дискурсов последних тридцати лет. Эти праведники выражали протест от имени всех, не обращаясь, однако, ни к кому конкретно и не ожидая никакого ответа.

Но в любом случае ответ на пресловутый вопрос: «Что делать?» мало результативен, если неизвестно — «Кому делать», ибо в характере человека запечатлены императивы действия, которыми он руководствуется, будучи таким, каков он есть.

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие . . . . .	5
-----------------------	---

### Часть 1. ПОРОЖДАЮЩИЕ ЧУДОВИЩ...

Масса — вместо народа. Ужасы массового сознания .	11
Толпы — вместо общества. Синдромы толпы . . . .	35

### Часть 2. МОНСТР ВЛАСТИ

Дружественно-безвредное — снаружи, враждебно- смертельное — внутри . . . . .	138
Вождь масс . . . . .	197
Закключение . . . . .	233

*Элиас Канетти, Серж Московичи*

**МОНСТР ВЛАСТИ**

*Редактор О.В. Селин, художник М. Медведь,  
верстка А.А. Кувшинников, корректор И.А. Носкова*

ООО «Алгоритм–Книга»

Лицензия ИД 00368 от 29.10.99, тел.: 617-0825

Оптовая торговля: 617-0825, 617-0952

Мелкооптовая торговля: г.Москва, СК «Олимпийский». Книжный клуб.

Торговое место: № 30, 1-й эт. Тел. 8-903-5198541

Сайт: <http://www.algoritm-kniga.ru>

Электронная почта: [algoritm-kniga@mail.ru](mailto:algoritm-kniga@mail.ru)

Интернет-магазин: <http://www.politkniga.ru>

Сдано в набор 27.10.08. Подписано в печать 27.12.08.

Формат 84х108/32. Печать офсетная. Гарнитура Таймс.

Печ. л. 7,5. Тираж 3000 экз. Заказ